АЛЕКСЕЙ ЮГОВ

БЕЗУМНЫЕ ЗАТЕИ ФЕРАПОНТА ИВАНОВИЧА

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Безумные затеи Ферапонта Ивановича» — первый роман советского писателя А. К. Югова (1902–1979). Действие этого фантастического детектива разворачивается в Омске в начале 1920-х годах. Угрозыск и ЧК расследуют эпидемию загадочных изнасилований и серию дерзких убийств коммунистов. Какое отношение имеют ко всему этому гениальный психиатр Капустин и фантаст Герберт Уэллс? Роман, на страницах которого читатель найдет и фрейдизм, и болезненную эротику, и чекиста, угощающего подследственного кокаином, увидел свет в 1928 году и не переиздавался до наших дней.

- Алексей Кузьмич Югов
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
  - Часть четвертая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21

Алексей Кузьмич Югов
Безумные затеи Ферапонта Ивановича
Роман

Часть первая

1 Кафе «Зон»

Тиф разгружал станцию, город и эшелоны. Омск эвакуировался. В городе ходили слухи, что «верховный» и Сахаров снова выехали на фронт, что на что-то надо еще надеяться, но уж для всех, кроме, может быть, самого «верховного», ясно было, что Омск удержать нельзя. Запад перестал быть. Черная аорта Сибири, разбухшая и напрягшаяся до предела, местами начинала рваться, силясь протолкнуть по своему руслу хлынувшие на восток скопища. Казалось, даже мысли отказывались идти на запад. Глухая, оберегающая душу завеса упала между фронтом и тылом. Сводку перестали читать. Угол Люблинского проспекта, где, бывало, до поздней ночи стояла большая толпа, при свете огарков читавшая сведения наштаверха, теперь опустел совершенно. Большая часть толпившихся здесь оленьих дох и каракулевых шубок успела уже погрузиться на колеса, остальные добивались этого. Улицы по ночам были пустынны. Обыватель боялся. Чувствовалось уже как-то, что все подпольное и подземное не сегодня-завтра объявится в хозяевах города. Офицеру опасно стало показываться на окраинах. Из-за Иртыша тянуло тревогой: Куломзино подстерегало город. И смутно, и тоскливо было в городе, как в квартире, в которой уж нет ничего твоего, а приходится еще оставаться переночевать.

В такое время дорог человеку приют, дорого место, где бы можно было, не думая ни о чем, отдохнуть за стаканом пива. А где же найдешь такое место, если не в кафе «Зон»? Здесь тихо и хорошо, для кутежей сюда не ездят, и любая порядочная женщина, не краснея, может встретиться здесь со своей хорошей знакомой. Кроме того, все знают, что кафе «Зон» — любимое кафе чехов, и это больше всего притягивает. Пускай всем известно, что чешская армия бросила фронт бесповоротно, а все-таки как-то не верится в близкую опасность, пока здесь, перед глазами, эти рослые и спокойные красавцы. За их широкой спиной несколько меньше чувствуется всепронизывающий сквозняк тревоги. И вот несчастные «штатские» поступаются своим самолюбием, чтобы хоть немного подышать аурой безопасности, излучаемой чешскими воинами. Приходится ради этого усаживаться за самые плохие столики в кафе, терпеливо (не постукивая ложечкой!) ждать благосклонности официанта и крепко-накрепко помнить, что ты в этом кафе — не больше, как одетая в пальто пустота,

которую неприлично считается замечать не только у чешских, но, что обиднее всего, и у своих русских офицеров.

При таких-то вот взаимоотношениях или, вернее, при таком отсутствии всяких взаимоотношений между военными и «штатскими», можно, думаю, представить, как поражены были, как залюбопыт-ствовали сидевшие в кафе офицеры, когда штабс-капитан особого егерского батальона Яхонтов, подойдя быстрыми шагами к столику одного невзрачного господина, сшиб ударом стека стакан с пивом прямо к нему на колени и, слегка поклонившись, назвал себя.

В первое мгновенье на лице человека, пострадавшего от этой злой выходки, изобразилось явное и мучительное смятение. Он привстал со стула, забавно расставив ноги, начал ощупывать свои карманы, очевидно, ища носовой платок, но не нашел его и, схватив край скатерти, им было собирался обтереть коленки, но и этого не сделал, а просто сел опять прочно и тяжело на свое место, откинувшись на спинку, и, отъезжая вместе со стулом, как бы для того, чтобы лучше видеть обидевшего его офицера, сказал вдруг тихо и с расстановкой:

— Понимаю...

— Что?! — с радостной готовностью нагнулся к нему капитан, перехватывая поудобнее стек, — что вы изволили сказать?!..

— *Понимаю,* говорю, и могу *потушить фонарь,* — совершенно спокойно и даже несколько игриво, как показалось офицеру, сказал невзрачный господин, многозначительно выделяя слова.

Капитан Яхонтов никогда не бывал в таком неловком положении. Слова затронутого им человека не давали офицеру той искры, которая так необходима в ссоре, чтобы разозлиться и первому ударить противника. Он не знал, что делать. А вокруг уже сгрудились любопытные, приготовившиеся, должно быть, к длительному удовольствию, т. к. многие из них держали стаканы с недопитым пивом и кофе.

Яхонтов почувствовал, что все это может, в конце концов, сделать его смешным, и беспокойство за честь мундира, овладевшее им, заставило его решиться.

— Официант! — громко позвал он.

Тот вынырнул из-под самого локтя Яхонтова.

— Отдельную комнату!

— Слушаюсь.

— Вас я попрошу пройти со мной, — обратился офицер к оскорбленному им человеку, который, казалось, только и дожидался этого приглашения.

В довольно приличной комнате, куда, однако, доходил

кухонный чад и грохот, Яхонтов сразу же занял кресло, стоявшее возле небольшого стола, покрытого грязной скатертью. Незнакомец остался стоять.

— Я жду от вас объяснений... садитесь...

Тот сел. Помолчали. Наконец, теребя шляпу, лежавшую у него на коленях, и не глядя на собеседника, незнакомец заговорил, подбирая слова и краснея:

— Видите ли... Вы меня извините, но, собственно, мне бы... впрочем, ерунда!.. Пожалуйста: я готов вам дать объяснения... только — минуточку... — с такими словами странный человек вынул карандаш и блокнот, быстро записал что-то и, вырвав листок, положил его на стол, прикрыв ладонью. Плоские с грязными каймами ногти и короткие пальцы неприятно поразили офицера.

— Вот, — проговорил его собеседник, смущаясь: — теперь пожалуйста: к вашим услугам — спрашивайте... Может быть, на первых порах вам интересно знать, кто я такой, так вот: фамилия моя

— Капустин, Ферапонт Иванович, по роду занятий — психиатр, пока без службы...

Звякнули шпоры. Капитан устроился в кресле поудобнее и, вглядываясь пристально в собеседника, сказал:

— Хорошо... Меня интересуют два вопроса...

— Три?.. — поправил его собеседник несколько робко, но, сопровождая слова свои фамильярной ужимкой, очень раздражившей капитана.

— Пожалуй... вы правы, господин... Капустин, — сухо сказал офицер. «Черт его знает: баптист, непротивленец он что ли?» — думал он в это время про себя и все более и более раздражался.

Весь вид Капустина показывал, что ему еще хочется говорить. Молчание офицера он счел за разрешение.

— Видите ли, — начал Капустин, — я хотел бы обратить ваше внимание... — с этими словами он взял записку, которую при крыш л зачем-то ладонью, и подал ее офицеру. Яхонтов прочел:

«1) Вы хотите знать, почему я улыбался, глядя на группу офицеров (за это вы и сшибли мой стакан), 2) почему я так странно реагировал на оскорбление и сказал «понимаю» и 3) что значит «потушить фонарь»...

Офицер отбросил записочку.

— Да что вы думаете, — почти закричал он, — я вас сюда для фокусов ясновиденья пригласил?!.. Ну, хорошо: вы угадали, но, ведь, это же ровно ничего не объясняет! Ну, относительно вашего «понимаю» можно еще догадаться, что вы *поняли,* насколько ваша улыбка по адресу офицеров возмутила меня, русского офицера...

но все остальное... и, наконец, что вы нашли смешного в нашей группе, и это что — «можно потушить фонарь*?!.. Нет, вы меня простите, но я требую, чтобы вы объяснились толком!..

Капустин сразу сделался серьезен.

— Видите ли... прежде всего здесь нет никакого ясновидения, — просто профессиональный навык наблюдательности, а затем, конечно, все это пустяк, не стоящий вашего внимания. Я глубоко убежден, господин капитан, что наша с вами встреча будет иметь другое, самое высокое значение, выше всякого личного... — Здесь Капустин остановился, как будто снова подыскивая для своих мыслей такую форму, которая не спугнула бы установившегося внимания собеседника. Он напрасно боялся: любопытство офицера взвинчено было до предела. Яхонтов решил выяснить до конца все непонятное в этом происшествии, тем более, что собеседник начал казаться ему симпатичным, оттого, что слишком явная боязнь быть непонятым, недослушанным до конца, сквозила в тоне Капустина и в выражении лица его.

— Пожалуйста, — сказал капитан, — я с удовольствием и с полнейшим вниманием выслушаю все, что вы имеете доложить мне... Временем мы не стеснены, — добавил он, взглянув на часы. — Вы курите?

— Нет...

Яхонгов закурил папиросу и приготовился слушать.

— Видите ли... — начал странный человек, — то, что я сообщил вам о себе кое-какие чисто паспортные сведения, ну, например, то, что я — Ферапонт Иванович Капустин, психиатр и тому подобное, конечно, ничего не говорит вам. Это немногим больше, чем назваться номером таким-то. Нет! В наше проклятое время нам от человека другое требуется! Враг или друг ты — вот что главное!.. Я это прекрасно понимаю Поэтому-то, именно, я испытываю сейчас огромное затруднение. Я уже говорил вам, что мне много нужно сказать вам такого, что выходит за пределы личного. Вас-то я знаю теперь настолько, что никакие сведения о вашей личности, со стороны не пошатнули бы моей веры в вас. Вы только что доказали мне, что не все еще офицеры утратили представление о чести армии... Словом, вам я доверяюсь без оговорок, но сам не могу льстить себя надеждой, что, встретившись с вами в первый раз здесь и при таких обстоятельствах, я окажусь в ваших глазах достойным доверия. А без этого — немыслимо. Во имя нашего общего дела, я буду просить о доверии самом полном... Конечно, мы могли бы отложить нашу беседу до тех пор, пока контрразведка, по требованию вашему, не представит сведений обо мне и о предках моих до седьмого колена, но вы сами увидите, что время не

терпит. Поэтому я думаю, что у меня есть другой путь к вашему доверию, более короткий и приятный... Вам, конечно, известен полковник Карцев?

— Да. Я полагаю, что он должен быть известен каждому егерскому офицеру.

— Очень рад. Хотя я и не сомневался, что отзывы офицерства о моем друге будут одинаковы.

— Как?! Полковник Карцев — ваш друг?

Капустин, не отвечая, извлек из внутреннего кармана пальто довольно объемистый бумажник и, вытащив оттуда длинную фотографическую карточку, протянул ее офицеру.

Яхонтов, взглянув на карточку, улыбнулся, и лицо его приняло вдруг домашнее выражение.

— Так... А почему этот мальчуган Анатолия Петровича — у вас на коленях?

— Мишук-то? Да, ведь, это же мой крестник! — радостно засуетился Капустин. — Вы видите, — бросился он показывать офицеру, — часы у меня на шнурке привязаны, а он их держит в ручонке. Страшно часы любил! Все время, бывало, приставал: «дай посусаю!», а засмотришься, так и того!.. И, между прочим, знаете ли, никак не мог понять, что часы — в часовом кармашке. — «Дядя, говорит, у котолого часики в блюске».

Офицер засмеялся.

— Так, так... Ну, так давайте познакомимся! — сказал он, вставая и протягивая руку:

— Яхонтов.

Капустин поспешно вскочил и еще раз назвал себя.

Усевшись в кресла, оба они долго молчали, испытывая какое-то хорошее смущение. Наконец, офицер спросил:

— Так, очень возможно, что мы встречались даже у них в Екатеринбурге?

— Даже наверное. Я сразу же припомнил вас, как только увидел в кафе...

— Ох, знаете, вы опять напомнили мне нашу несчастную встречу!.. — сказал офицер, покраснев, — вы меня простите, доктор... но...

— Что вы, что вы? наша встреча-то несчастная?! Не потому ли только, что несколько капелек пива оросили мою ничтожную особу? Да вы знаете, что я должен благодарить бога за эту встречу! Пусть я стал жертвой вашего вполне, добавлю, справедливого гнева, но зато я увидел истинно русского офицера, который не простит никому даже тени неуважения к русской армии... Господин капитан!..

— Называйте меня — Георгий Александрович.

— Благодарю вас... Георгий Александрович, я еще давеча говорил вам, что хочу беседовать с вами и вот теперь прошу разрешения вашего говорить с вами обо всем с полной откровенностью, ничего не утаивая и не замалчивая... как с братом, как с человеком, в сердце которого живет та же, что и во мне, любовь к родине и ненависть к банде, поправшей все святое для русского человека!.,

— Ферапонт Иванович! я сам буду просить вас о полном доверии и откровенности. Даю вам слово, офицера, что все, что вы сочтете нужным хранить в тайне, навсегда останется между нами... Я слушаю...

Впрочем, еще один вопрос: вы давно расстались с полковником Карцевым?

— С самого Екатеринбурга. Это был как раз прощальный снимок перед эвакуацией. А вам известно что-нибудь?

— Нет, к сожалению. Знаю только, что в последнее время он был прикомандирован к штабу II армии.

— Да, знаете ли, если бы я не потерял с ним связи, то, пожалуй, давно бы потушил свой диогенов фонарь, — в раздумьи сказал Ферапонт Иванович. — Однако, — добавил он, глядя на офицера, — я верю, что бог не слишком поздно послал мне встречу с вами. Может быть, все еще поправимо...

— Ферапонт Иванович! — не вытерпел Яхонтов, — вы меня мучаете!

Капустину нравилось разжигать любопытство офицера.

— Итак, хорошо, — сказал он, — говорить прямо, открыто, никого не щадя?

Офицер кивнул головой.

— Хорошо... начну с нашего столкновения в кафе: вы совершенно правильно истолковали мою улыбку, она относилась именно к сидевшим в кафе офицерам, впрочем, не только к ним. Сеть моих ассоциаций раскинулась в тот момент очень далеко. Они захватили многое, очень многое, не пощадив даже одноэтажного особняка на берегу Иртыша... — взглянув на офицера, Капустин убедился, что тот его понял. — И вот, все эти мысли и вызвали мою улыбку. Но, вы должны чувствовать, Георгий Александрович, что улыбка эта не могла быть адекватной моим переживаниям. Нет, Георгий Александрович! заплакать мне в тот момент хотелось, голову спрятать, знаете, как страус, чтобы не видеть, не слышать ничего!.. Что я в этот момент думал... Думал я о том позоре, о той грязи, в которой потонуло наше белое дело — дело спасения родины, начатое так мужественно и прекрасно! Думал я о ворах, карьеристах, трусах, о полчищах предателей, а главное — о страшном и, может быть, смертельном

шоке... Вам не знакомо, я думаю, это слово, по крайней мере тот смысл, который мы вкладываем в него. Шок — это, говоря просто, нервный удар, внезапное потрясение нервной системы, иногда приостанавливающее все ее высшие функции, иногда кончающееся смертью, как доказано это в опытах с лабораторными животными. Может быть шок чисто психогенного происхождения. И вот, думая о судьбах нашей родины, пытаясь найти объяснение тому дикому факту, что большевики царствуют на Руси уже третий год, вопреки воле всего народа, я нахожу только одно слово — шок! Соборная психика народа (мне противно сказать «коллективная») сначала от чудовищной бойни народов, потом от бойни братоубийственной потерпела страшнейшее потрясение. Затормозились надолго все высшие сознательные функции целого народа. И, распластанный в состоянии шока, народ русский, подобно лабораторному животному, покорно подставляет свое тело под нож кремлевского экспериментатора!.. А Сибирь?!.. Посмотрите, что совершается кругом: повальное бегство, «подводная» война, «смазывание пяток», дезертирство психическое и физическое! Инстинкт самосохранения — вот единственное, что пощадил шок!.. И вы знаете, что в этом бегстве слились все — армия и тыл. Нет большой разницы между военным и штатским... Все!.. — Капустин вскочил и зашагал по комнате.

Офицер молчал.

— О, если бы я ошибался! — вскричал Ферапонт Иванович, не помня себя, — тогда... тогда я давно бы уже разбил свой диогенов фонарь, найдя человека... Но, где было найти его, когда даже во главе нашей армии — бездарность, карьеристы и трусы?! Георгий Александрович, ну, возьмем настоящий момент: скажите, разве пользуется наш новый главнокомандующий хоть каким-нибудь авторитетом в глазах армии и населения? разве читает кто-нибудь его приказы, где он обещает не сдавать Омска и пишет о пятнадцати казачьих полках, брошенных к Тоболу?!.. Ну, скажите, — кто еще? — Каппель, Пепеляев, вы скажете? Но, во-первых, действительно ли они — вожди, а, во-вторых, — их губит обоих этот отвратительный душок демократизма... Ну?! Кто дальше? — в позе вызова остановился Капустин перед офицером.

— Дитерихс... Вы о нем подумали? — тихо сказал Яхонтов, взглянув на него.

— Дитерихс? — изумился Капустин, — что ж... да и об нем думал в свое время, но, по правде сказать, для меня он всегда был довольно серой фигурой, как, должно быть, и для военных. Нет! знаете, здесь нужен могучий и, главное, двухголовый диктатор, так, чтобы одна голова была военной, другая — гражданской. А

ваш Дитерихс... мне

приходилось от компетентных лиц слышать, что он и в военном-то отношении довольно посредственная фигура.

— Да... вот так же в свое время говорили о Барклае-де-Толли, — как бы в раздумьи сказал Яхонтов.

— Как?!.. Что вы сказали?.. Барклай-де-Толли?!.. Да что же между ними общего?!! — воскликнул Капустин.

— Да! — упрямо и с раздражением сказал офицер, — я утверждаю на основании некоторого знакомства и с кругами ставки и с положением на фронте, что «серый», как вы его назвали, Дитерихс смело может быть назван Барклаем-де-Толли сибирской армии. Вы, очевидно, не знаете, что еще до Тобола Дитерихс настаивал перед «верховным» на переводе столицы в Иркутск и на планомерном отводе всех армий. И даже для невоенного становится ясной (к сожалению, теперь) вся проницательность этого человека. Сохранение и концентрирование живой силы и всех материальных средств, кратчайшие коммуникационные линии, наконец, непосредственная близость к основным силам союзников!.. Семенову пришлось бы ретироваться, его вытеснили бы. Правда, возражали, что слишком много будет утрачено территории, а в особенности — людского резерва. Но, я бы сказал: черт с ним, с таким резервом! Эти мужички показали нам, как хотят они защищать родину!.. А там у нас была бы, знаете, какая опора в уссурийском и забайкальском казачестве?!.. Наконец, кто знает, может быть бы и «братья» чехи оказались сговорчивее, находясь возле самого моря... И вот, все это предвидел «серый» Дитерихс, но, к несчастью, у него и судьба-то общая с Барклаем. Ни для кого не гайна, что после труб и литавр наш Сахаров будет продолжать отступление. Только не думаю, что это придаст ему сходство с Кутузовым... Конечно, Омск обречен, а что дальше...

— Господи! — воскликнул Капустин, — неужели и вас не пощадил шок?!.. Вы утверждаете, что Омск никакими силами удержать нельзя?..

— Да, утверждаю... Вы и сами, кажется, видите это прекрасно. Здесь дело не в отдельных личностях.

— Георгий Александрович! — горестно и возмущенно вскричал Капустин, — да, ведь, я уверяю, что если пройтись по одним кафе и ресторанам, то можно набрать тысячную армию из одних только офицеров. А по всему-то городу?!

— Ну, что ж, — усмехнулся капитан, — и здесь ваш пресловутый шок; это уже — не армия!..

— Да, к несчастью так... О, психика, психика! — что океан перед тобой?!.. — продекламировал Капустин. — Георгий

Александрович, —сказал он успокаиваясь, — вы послушайте только: прихожу я на днях к одному знакомому, он — купец, беженец из Самары, человек глубоко религиозный, нравственный, единственную дочь свою по Домострою воспитывал, прихожу и вижу: старик чуть не пляшет от радости. — «<Что с вами?»... — «Да как же», говорит, «Манечка сможет эвакуироваться: знакомые чехи берут в свой вагон». — «Ну, а вы?». — «Да мы-то со старухой остаемся: всем не уехать... Ничего, господь милует, пускай хоть Манечка спасется!»... А Манечке-то восемнадцать лет!..

Яхонтов рассмеялся:

— Да, бывает...

— И вы знаете, до чего доходит это безумие в панике? — возмущался Капустин. — Слепцы! Безумцы! Вас много! Вы сильнее! — нет: бегут!.. Георгий Александрович, — крикнул он совершенно вне себя, — ударим в их психику!..

— Чью? — вздрогнув даже от неожиданности, спросил Яхонтов.

— Красных!.. Нужно устроить им психический разгром!.. Что? Вы улыбаетесь! Считаете меня сумасшедшим. Думаете, может быть, что я пристану к вам с организацией какого-нибудь клафтоновского освед-верха?!

Капустин не давал рта открыть своему собеседнику.

— Нет, Георгий Александрович! Вы забыли историю. Без нас, ученых, что делали бы вы--воюющие?!.. Вы ответите, что здесь не один человек, а наука, но вспомните защиту Сиракуз Архимедом, вспомните Леонардо да-Винчи!.. Можете смеяться надо мной, но я говорю вам: мы — штабс-капитан Яхонтов и психиатр Капустин — сделаем то, что не сделали ни Сахаров, ни ваш сибирский Барклай-де-Толли. Мы отстоим Омск!..

Капустин сел в кресло.

Капитан подвинул к нему стакан и налил воды из стоявшего на столе графина.

— Успокойтесь, дорогой Ферапонт Иванович! — сказал он с участием. Лицо его было чрезвычайно серьезно.

— Никто даже не думал смеяться! Я не пропустил ни одного вашего слова и заявляю вам, что я — весь в вашем распоряжении, если это потребуется для блага родины.

Капустин отпил глоток воды и слабым голосом, оглянувшись в сторону двери, сказал:

— Георгий Александрович, я считаю, что излагать вам суть дела здесь было бы несколько неосторожно. Вот здесь у меня записано все подробно, ясно и... доказательно. — Он извлек из кармана небольшую, сложенную вдвое, ученическую тетрадку и передал офицеру.

— Да, страшно подумать, что в этой вот жалкой тетрадке заключена, может быть, судьба всего фронта!..

— Клянусь честью офицера, — сказал Яхонтов торжественно, как на присяге, — что эту тетрадь можно отнять только у трупа!..

Капустин встревожился.

— Видите ли, Георгий Александрович, я считаю, что кто-нибудь из ставки, по вашему доверию, должен будет непременно ознакомиться с этим: чем больше размах будет взят сразу и чем скорее, тем вернее победа.

Офицер нахмурился, однако, это быстро прошло, и, наклонив голову, он сказал:

— Сочту своим долгом.

Капустин встал. Они посмотрели друг другу в глаза. Маленький Капустин протянул руку высокому и стройному Яхонтову. Они обменялись адресами. Капитан толкнул дверь. Звон падающей и разбивающейся посуды, сопровождаемый вскриком, оглушил их. У противоположной стены узенького и темного коридора стояла, беспомощно опустив руки, перепуганная горничная. Возле двери лежал поднос и груда осколков. Очевидно, дверь открылась и вышибла поднос в то время, как кельнерша пробегала мимо.

Яхонтов остановился на секунду, затем быстро вынул бумажник и, достав несколько кредиток, сунул девушке. Перепуганная девушка не успела протянуть руку. Деньги упали на пол. Офицер с Капустиным обогнули угол темного коридорчика, свет зала заставил их зажмуриться. Пройдя шага два, Капустин остановил вдруг офицера и что-то сказал ему на ухо.

Капитан поморщился, как бы обдумывая что-то, и оглянулся на коридор, из которого они вышли; девушка собирала осколки.

Нет, не думаю, — сказал он...

2 Темный эшелон

Эвакуация... эвакуированный... эвакуационный... липкие, квакающие слова! И кто это только выдумал и выпустил в русский обиход эту безобразную стаю?! Уж не для того ли эти слова, для чего и другие многие из иностранных, т. е., чтобы скрыть, как скрывают в облатке неприятное лекарство, все постыдное и нечистое, что нехорошо обозначить простым словом? Однако, не хватает облатки: «эвакуантов» все-таки зовут беженцами, да и не прикроешь, пожалуй, никакой иностранщиной того постыдного и безобразного, что совершается

вот уже вторую неделю на омской станции.

Здесь, в этих людях, готовых искалечить друг друга из-за места на грязных нарах теплушки, пещерный предок узнал бы свое потомство! А ведь придет время — рассядутся все, «утрясутся», как сами же они выражаются, почувствует каждый, что прочно обосновался в логове, и тогда мало-помалу начнут отходить сердца, остынут разгоряченные дракой тела, спрячутся оскаленные клыки, и такие завяжутся знакомства, что уж и не представляют люди потом, что можно расстаться, забыть номер общей теплушки и никогда в жизни не переписываться друг с другом.

Но это потом будет, а пока лучше не смотреть, что творится.

Ну, неужели, например, не знает этот белокурый, с мягким нежным лицом, поручик, которого английская с серым широким воротником шуба де лает еще женственнее, неужели не знает он, что та женщина, которую он оттолкнул сейчас, втаскивая в теплушку, с помощью денщика, какой-то сундук, тоже сестра или жена такого же, как он, офицера?!..

Уж много часов стоит она перед этой теплушкой вместе с высокой черной старухой возле сваленных на снегу дров, ящиков, чемоданов и корзин, ожидая посадки. Путем бесконечных расспросов, унижаясь и плача, останавливая пробегавших по перрону железнодорожников и военных, ей удалось, наконец, узнать раньше всех, на котором пути формируется состав для офицерских семей, и тогда она, молча, крадучись, вместе со старухой принялась перетаскивать одну за другой все свои вещи, пролазя с ними под стоявшими на пути эшелонами, в надежде, что она первая попадет в теплушку. Но у юнкера их — Сашеньки — не было еще денщика, а сам он не мог вырваться из города, посадка началась дико и внезапно, и вот теперь обе женщины стояли возле своих вещей, отброшенные в сторону, и не знали, что делать.

— Господи! да где же это Саша-то?! — говорила старуха, оглядываясь во все стороны. — Зиночка! Ты бы побежала ему навстречу... Ведь опять мы останемся!.. Сбегала бы к коменданту, — пусть даст кого-нибудь!.. Нахалы вы! Нахалы! — вдруг закричала она пронзительно, с трясущейся от гнева головой, на вламывающихся в теплушку с треском и грохотом офицеров и их денщиков.

Дочь останавливала ее:

— Мама, мамочка! — говорила она, дергая старуху за рукав, — да перестаньте же! Сейчас Саша придет, — перестаньте! — А у самой глаза полны были слез, и, увидев подошедшего к паровозу проводника, она почти бегом бросилась к нему и стала просить

помочь им. Проводник, не дослушав ее, буркнул что-то и отошел. В это время она увидела знакомого прапорщика: он выглянул из теплушки стоявшего напротив эшелона. Она окликнула. Он, неприятно, видимо, пораженный, все-таки поклонился ей и выпрыгнул из теплушки.

— Анатолий Сергеевич, ради бога, помогите нам! — сказала она голосом просительницы, совсем не похожим на тот, каким она разговаривала с ним в своей гостиной, когда он бывал у них, когда под ее аккомпанировку пел песенки Вертинского и, стоя за ее стулом и перелистывая ноты, вдыхал аромат ее волос, томился от любви к ней. Она протянула ему руку, привычным жестом отогнув до половины свою перчатку. Он ответил ей рукопожатием. Но, как будто не замечая этого, она продолжала, волнуясь и тревожно вглядываясь в него:

— Вы знаете, это ужасно, что делается: нас совсем оттеснили!.. Мама страшно волнуется. Александр — в городе: его не отпустили... Я так обрадовалась, когда вас увидела... может быть...

— Увы!.. — сказал прапорщик с неловкой улыбкой, которая должна была обозначать одновременно и отказ, и сожаление, — если бы на полчаса, только на полчаса раньше!.. А теперь... денщика я командировал в город, а сам... мы сейчас... меня вызывают в штаб...

Оба они старались не смотреть друг на друга. Долго молчали и обоим было как-то неловко расстаться.

— Боже мой... боже мой!.. Что же делать?! — словно про себя говорила она.

— Холодно! — сказал прапорщик, передернувшись, и пояснил для чего-то, как будто она не видела: — Я ведь в одной гимнастерке к вам выскочил... Ну, прощайте! — сказал он, беря ее руку и на этот раз целуя выше перчатки. — Надеюсь увидеть вас во Владивостоке, — и, не дожидаясь даже, когда она уйдет, он повернулся к ней спиной и, ухватившись за скобку косяка, легко прыгнул в теплушку...

Женщина постояла еще немного и пошла по направлению к станции.

Низко (вот-вот, кажется, заденешь головой) висят над перроном огромные станционные часы. Большая стрелка, похожая на меч, долго остается на месте и вдруг делает прыжок.

Два офицера стоят, прислонившись к стене вокзала, и смотрят спокойно, как мечутся по перрону люди. Один из них, помоложе, говорит:

— Знаешь, странно все-таки делается: ведь вот за то время, пока эта стрелка едва-едва успела оползти циферблат, фронт

откатился еще на шестьдесят верст!.. Ты сводку читал?

— Да, — говорит другой, не склонный, видимо, к философствованию. — Бегут...

Мимо них с шумом и звяканьем проходят два анненковца, волоча длинные шашки. На рукавах у них — череп и скрещенные кости.

— Денатурат! — громко говорит старший из офицеров — кавалерист, судя по шпорам и длиннополой шинели с разрезом от самого пояса. Собеседник не понимает его, и тогда он глазами показывает на мрачную эмблему анненковцев. Оба хохочут.

Один из анненковцев оглядывается, но, должно быть, они очень спешат, потому что оба скрываются в вокзале.

— Тоже, поди, думают, что — кавалерия! — не унимается офицер. Не кавалерия, по-моему, а цыганская свадьба... Пришли бы они к нам в русско-чешский, мы бы их поучили!..

Станция, словно шелухой семечек, засорена народом и скарбом. А «ветка» каждые двадцать минут привозит из города все новых и новых людей. Рядом с веткой от самого города протянулся обоз с беженской рухлядью.

На восток от вокзала далеко раскинулся выросший за каких-нибудь две недели город теплушек. Когда-то вся Русь была кондовая, избяная, а после — пришел четырнадцатый год, и сделалась вагонная, теплушечная.

Здесь, впрочем, и в теплушках чувствуют себя прочно, оседло. На первых двух-трех линиях заметно еще некоторое движение: приходят и уходят поезда, бичуют воздух маневровые паровозы, звякают тарелки буферов. А дальше, как, впрочем, и полагается на окраинных улицах города, движение чуть заметно и, наконец, совсем затихает. Колеса на четверть засыпаны снегом. Чуть не у каждой теплушки — труба, из трубы идет дым. Белеют повсюду переплеты заново сделанных дверей и рам. Идет заготовка дров. У большинства теплушек до самой земли — прочные лесенки, можно даже посидеть на крылечке. Пожалуй, если здраво рассуждать, то колеса в этом городе давно уже лишние. Без них можно было бы завалинки сделать, из снега хотя бы: а го все-таки, как ни обивай изнутри теплушку коврами и кошмами, а снизу-то поддувает. Однако, где там! Хоть и крепко, по-домашнему, все устроились — а в колеса все-таки верят, верят во Владивосток и Иркутск. Поэтому каждый день квартальный надзиратель, упорно именуемый, однако, комендантом эшелона, ходит к коменданту станции узнавать, скоро ли их квартал тронется в Иркутск.

И случается, что нехотя-нехотя подойдет к такому кварталу какой-нибудь старичок-паровоз, тихонько покрякивая, толканет,

слоено силенку пробует, повозится там чего-то и глядишь — потащил ведь со скрипом и стоном застоявшиеся теплушки! Поплыли лесенки, срезая по дороге кучи снега... И подымается суматоха! Ликвидируются дровяные заготовки. Сбегаются отовсюду жители, видевшие, как стронулись их дома, и выскакивают на крылечко встревоженные женщины, у которых мужчины — эти извечные добытчики всякой снеди и топлива — странствуют в это время где-нибудь по вокзалу, а то и в городе. Лица женщин выражают мучительные переживания: остаться с ним или уехать с вещами?!..

Так бывало с каждым эшелоном и не однажды. И каждый раз кончалось, что состав только загоняли еще дальше, чтобы освободить путь для военных эшелонов. Наконец, все к этому очень привыкли и не только безбоязненно стали уходить на вокзал, но многие даже и ночевали-то в городе. Явилась уверенность, что положение устойчивое. Некоторые предлагали даже перенумеровать по-городскому все теплушки, а на головных и хвостовых прибить дощечки с наименованием улиц: Лермонтовская, примерно, Потанинская, Адмиральская. Сплетни, кумовство и заимодавство накрепко связали между собою отдельные теплушки и эшелоны...

Был, однако, в самом «устойчивом» углу этого юрода один эшелон, по-видимому, военный, с которым не только не удалось завязать какие-либо отношения, но к которому даже приблизиться было нельзя, потому что по обе стороны — по два часовых. Думали сначала, что там снаряды, но скоро увидели, что нет. Ибо, хотя и закрыты все теплушки на замки и железные створки окон захлопнуты наглухо, но у каждой теплушки — труба, оттуда — дым и, кроме того, сажен за сто от эшелона так силен становится солдатский запах, что ясно становится, что в теплушках — никак не меньше батальона. Днем теплушки не открываются вовсе. Стало быть, люди сидят там в полной темноте, хотя, по-видимому, это мало их смущает, так как все время доносятся оттуда — смех, крики, звуки гармошки и топот.

Уж, во всяком случае, там не арестанты: слишком весело себя ведут. Вот даже к одной из теплушек подходит часовой и стучит прикладом:

— Эй, вы, чалдоны желторотые! Тише. Фельдфебель придет...

Ему отвечают руганью и шутками:

— Ге-ге!.. Пускай приходит!..

— Как же! — придет он, дожидайся! Днем-то, небось, не одна собака к нам не заглянет!..

— Чо ему здесь делать?! Иголки-то ешшо рано расшвыривать. Эти-то не все собрали!..

— Придет, дак мы его тут в потемках-то петушком завяжем, — не узнат кто!..

— Ну-ну! Вы ее больно-то! — говорит часовой и отходит к другой теплушке. Здесь довольно тихо, но, приложившись к щели между дверью и косяком, он остается в таком положении довольно долго. В теплушке идет разговор, беспорядочный, вразброд, как всегда, где соберется много праздного народу.

— Эх, мамаша! — слышится чей-то молодой и озорной, изнывающий от скуки голос. — Конюхов! ты чо — библею читашь! Умрет он, братцы, без библеи! А мне бы хоть одним глазом на баб взглянуть! Ох, и много их, поди, на станции!.. Чую, что много!..

— Ну, язви их! — дожили! Зашшитники! — людям показать стыдно... Вон дак образцовый батальон!..

— Да, господин взводный, долго ли чо нас держать-то будут?! Хооъ бы сказали, за что! А то сидишь, как кобель на цепе! Иголки каки-то удумали! Начисто обалдели!..

— Кто обалдел?!..

— Да хоть бы и капитан!

— Ну, ты говори-говори, да откусывай!.. — отвечает, по-видимому, взводный.

— Эй! вот что, ребятишки: кто будет в очко?

— Ишь, стерва, в очко! Да ты и при свете-то обдуешь!..

— Эй, Конюхов! ты ить начетчик — погадай, слышь, на библее, пошто нас затырили?..

— Библия тебе не мешат, дак ты ее и не затрагивай, а кто затырил, дак у того и спрашивай!..

— А вот что, ребята, — вступает чей-то новый голос, — офицера-то в потемках же сидят а ли на воле?

— Ну, дак как же! Наверно, тебе поручик Лазарев усидит! Он, поди, всех баб в городе освашшил!

— А капитан-от Яхонтов куды делся?

— А его, слышь, и в ешалоне нету. Хрен его знат. Наделал делов, а сам — на сторону!..

— А я дак, ребята, думаю, — глубокомысленно сказал кто-то, — что нас для восстания скрывают.

Несколько времени все молчат, видимо, пораженные неожиданностью догадки. Потом кто-то говорит презрительно:

— Уткнул пальцем!.. Так тебе бы и дали орать да на гармошке наяривать!.. А, скажем, для чего тогда в потемках-то держать?.. Никого тут не восстание, а так — дурость кака-то!..

— Ну их к черту! Давай, ребятишки, споем ли чо ли!..

— В неволе сижу...

3 Офицер и денщик

А тот, о ком говорили солдаты, что он «наделал делов, а сам — на сторону» — капитан егерского особого батальона Яхонтов уж целый месяц не выходил из своей комнаты, в которой было так же темно, как в теплушках его батальона. В первое время очень беспокоили разные знакомые, главным образом, женщины, прибегавшие попроведать капитана, но скоро его денщик отвадил всех посетителей. Он никого дальше кухни не пропускал и каждому старательно объяснял, что у капитана заболели глаза, и ему велено сидеть в темной комнате и никуда не выходить. Квартира у Яхонтова была совершенно отдельная — из двух небольших комнат и кухни, в которой, однако, жил денщик и ничего не готовилось, так как Яхонтов получал обеды из ресторана.

Первое время Яхонтову стоило больших усилий усидеть в своем затворе, когда он слышал голос доброго знакомого или приятеля, который, соболезнуя, расспрашивал денщика, давно ли у капитана заболели глаза, скоро ли он выздоровеет и хороший ли врач ею лечит. Но особенно трудно было, когда из кухни доносился голос какого-нибудь милого создания, и капитану страшно хотелось определить, а он не мог, по голосу, которая именно из ею приятельниц пришла его навестить.

«Бросить все это к черту! ну его совсем! — все равно ничего не выйдет», — думалось тогда капитану, и он готов был, действительно, бросить все, тем более, что мучения оттого, что нельзя даже было закурить, становились прямо-таки нестерпимыми.

Однако, две силы укрепляли капитана в ею замыслах: первой силой, несомненно, была тетрадка, полученная им в кафе «Зон» от Ферапонта Ивановича. Он прочел и продумал ее до конца, подвергнув самому тщательному разбору все утверждения Капустина, насколько позволяли ему его познания в этих вопросах и здравый смысл, и нашел, что Капустин рассуждает правильно и научно.

Но главное, что поддерживало Яхонтова и заставляло его идти до конца, это — его больше, чем у других людей, развитое замкнутое самолюбие. Честолюбивым Яхонтов никогда не был и никогда, между прочим, не страдал манией лицезрения т. н. великих или знаменитых людей. Он считал, и это было твердым его убеждением, что всех так называемых великих выбрасывало на поверхность игрой и давлением каких-то скрытых в недрах человечества и неизученных еще сил. Он любил эту мысль настолько, что иногда где-нибудь в гостиной, часто для того

лишь, чтобы порисоваться слегка, перед барышнями, он доводил ее до крайности, начиная утверждать, что самый лучший полководец наполеоновской эпохи — вовсе не Наполеон, а кто-то другой, может быть тоже — капрал, но так и проносивший всю жизнь маршальский жезл свой в ранце, ни разу не взявши его в руки. Лучший, гениальнейший писатель это, несомненно, кто-нибудь из таких, кто не написал ни одной строчки. Нечего уж говорить о том, что самый мудрый человек в мире не только не создал никакого учения, но так и умер неузнанным, именно потому, что постиг, насколько все в мире есть «тлен и брение».

Славу, даже не вкусивши ее, Яхонтов считал чечевичной похлебкой. Высшую радость испытывал он от одинокого осознавания остроты и гибкости своей мысли. Ему знакомо было несравнимое ни с какими другими переживаниями испепеляющее сладострастие напряженной умственной работы. При всем этом Яхонтов далек был от аскетизма, напротив, он обладал легко воспламеняющейся чувственностью и не видел основании противостоять ей; однако достаточно было ему даже где-нибудь на балу услышать грохот шахматных фигур, увидеть шахматный ящик в руках человека, которого он знал за сильного противника, чтобы все женщины, окружавшие его в этот миг, перестали существовать для него. Он был хорошим шахматистом и математиком. Сравнивая познания свои в области стратегии и тактики с познаниями работников ставки, он совершенно ясно видел свое превосходство, которое усугублялось еще и тем, что Яхонтов не забывал вносить все коррективы, которые выдвигались особенными условиями гражданской войны. Рядом с письменным столом капитана стоял другой, специально для большой карты фронта. Фронт белых отмечался у него двумя рядами белых флажков: один ряд обозначал действительное положение армий, другой — то, которое было бы, если бы главнокомандующим был он, Яхонтов. Несколько раз при встречах с Лебедевым он удивлял его, ради шутки, тем, что предсказывал смысл и результат операций противника на том или ином участке фронта и всегда оказывался прав. Так было, например, с операцией 5 армии красных на участке Звериноголовское—Курган: капитан предвидел тогда удар превосходных сил красных на стык между Степной и Уральской группой и указывал тогда, что с правого фланга — от Уфимской и Волжской группы — должны быть переброшены части на левый — в подкрепление Уральской группы, разгром которой являлся целью всей операции, предпринятой в то время 5 армией красных. Он считал также, что партизанская группа генерала Доможирова должна быть усилена и развернута во избежание обтекания

левого фланга. Дальнейшие события показали, что Яхонтов был прав.

— Да откуда вы знаете, капитан?!.. — спрашивал его наштаверх.

— У меня, ваше превосходительство, лучше работает... разведка, — посмеивался капитан.

За неделю до встречи в кафе Яхонтов считал еще, что дела на фронте можно было бы поправить, если бы, понятно, призван был он, Яхонтов. Однако, несмотря на свое особенное положение гвардейца, он никуда не лез со своими советами и указаниями. Здесь действовало его самолюбие, которое никогда и нигде не совместимо с честолюбием.

Солдаты не любили Яхонтова. Это раздражало его. Он обнаруживал вначале ясное тяготение к роли «отца-командира» и старался быть с солдатами справедливо-строгим и простым. И вот последнее-то никак не выходило у него. Вез всяких хитроумных рассуждений солдаты чуяли в нем человека чужой крови и расценивали все его «справедливые строгости», как произвол барина. Мало-помалу Яхонтов перестал домогаться роли «отца-командира» и сделался по отношению к солдатам холодно-жестоким и требовательным. Отношения определились.

Существовал, однако, ко всем «егербате» один человек, к которому Яхонтов был привязан не меньше, чем к своей собаке. Это был его денщик.

Силантий, он же «Шептало», удовлетворял самым строгим требованиям, которые только могут быть предъявлены денщику гвардейского офицера: это было бородатое преданное существо и вдобавок с приятным русским именем. Силантия прозвали в батальоне «Шепта-лом» вовсе не потому, что он шептал или наушничал, а просто по наименованию одной маленькой, хотя и существенной, части нагана. Дело в том, что Силантий, скоро и хорошо постигший хитрое устройство револьвера, очень любил помогать в этом отношении своим менее способным товарищам. И вот, когда он объяснял кому-нибудь из солдат батареи устройство нагана, ни одна из частей револьвера не вызывала его особенного внимания. Но лишь только произносил он: «а это, гляди, шептало», — как сразу преображался: он напоминал тогда заядлого охотника, который увидел вдруг из камышей какую-то чудовищную и редчайшую птицу и страшно хочет показать ее своему неопытному спутнику, но в то же время боится и спугнуть ее.

— Вишь — шепчет, вишь — шепчет!.. — говорил он шепотом, показывая на легкие движения шептала. Обыкновенно окружавшие их солдаты терпели только до этого места и дружно

начинали хохотать. Силантий сердился. Вероятно, он считал, что он поступает, как хороший педагог, преподнося бездушную частичку бездушной машины, как нечто одушевленное. Он был уверен, что после его объяснения никто не позабудет, что такое шептало и где оно находится. Пожалуй, он был прав.

Как-то в один из таких уроков Силантия в казарму вошел сам капитан Яхонтов. Силантий понравился ему своей бородой и внушительностью. Офицер спросил, как его имя, и когда услышал, то сейчас же, не задумываясь, взял его в денщики и никогда не раскаивался в этом.

— Мы с господином капитаном душа в душу живем, — хвастался иногда Силантий в батальоне.

— Халуем стал, Шептало! Отъелся — ишь ряжка-то — в три дня... не объедешь! — не то завидуя, не то возмущаясь, говорили солдаты.

Действительно, Силантию жилось хорошо. Только за последнее время, когда у капитана заболели глаза, и он сидел безвыходно в темной комнате, Силантий просто взвыл от безделья и скуки. Он уже перепробовал все: до последней ниточки перетряхнул и привел в порядок гардероб капитана, навел чистоту во всех комнатах и дошел, наконец, до того, что ежедневно до умопомрачительного блеска стал начищать капитановы сапоги, несмотря на то, что тот никуда и не думал выходить.

«Уединение и праздность губит молодых людей» — сказал философ. Случилось то, что должно было случиться.

Однажды Яхонтов, лежа в своей темнице и рассеянно думая, услышал вдруг сдавленный женский смешок в кухне, где жил Силантий. Это удивило капитана. Он постучал в стену. Через минуту послышался робкий стук в дверь.

— Войди! — сказал Яхонтов, зажмурившись на то время, пока оставалась открытой дверь. Силантий вошел.

— Ну, я тебя звал, — сказал Яхонтов, — там у тебя — кто?

Силантий молчал.

— Чего ж ты в землю смотришь?! — сердито закричал капитан, никогда, кажется, в течение целого года не кричавший на своего любимца, — на меня смотри!..

— Виноват, господин капитан! — не своим голосом сказал денщик. — Лиса вашего не вижу: темень...

— Темень! — передразнил его Яхонтов и невольно рассмеялся. — Ну, кто там у тебя? Живо!

— Девиса, господин капитан.

— Девица?!.. Кто ж это позволил девиц сюда водить, а?!

— Виноват, господин капитан.

— Ты что ж — скрыть от меня хотел?!..

— Никак нет, господин капитан.

— Чего ж не говорил?

— Робел, господин капитан.

Яхонтов расхохотался: — «Шептало» и вдруг — роман. Это обещало многое. За время сидения в темноте капитану хорошо сделалось понятным, что ум человеческий, как работающие жернова, требует, чтобы постоянно сыпалось новое зерно, чтобы было что перемалывать. Он убедился, как незначителен без подсыпки тот запас идей и представлений, который кажется неисчерпаемым, когда рвешься к одиночеству и размышлению. Капитан скучал не меньше своего денщика. И вот как раз кстати: пускай-ка теперь Шептало в наказание за своеволие поразвлекает его немножко.

— Ладно, старый греховодник, — сказал капитан, смягчаясь, — я тебе прощаю, только ты все мне должен рассказать: кто такая, откуда, как познакомились, — все! Слышишь? Пускай твоя «девиса» поскучает немножко...

— Так точно, господин капитан, — повеселев, сказал денщик. — Только девиса-то ушла, господин капитан: как вы постучали в стенку, она живехонько и свилась.

— Вон что. Ну, ладно, —т ем лучше. Давай рассказывай.

— Слушаюсь, господин капитан. Только что тут рассказывать?! Дело просто оборудовалось: в кафезоне я к ей подшагнул.

— Где? — не понял сразу Яхонтов.

— В кафезоне, господин капитан, — помните вы там все кофей пили...

— А, в кафе «Зон»! — удивился и даже несколько обиделся капитан. — А ну, рассказывай дальше.

— Я, господин капитан, не от себя, понятно, туда зашел. Боже меня сохрани! А помните, как-то от поручика Суркова с запиской прибегали: екстренно ему вас видеть надо было. Найди, — говорят, — беспременно —ежели не дома, то в кафезоне, значит, кофей пьют. Я и потурил туда. А штоись двух часов не пробило. Ну, прибегаю, а там публики ишшо нет никого. Только горнишна одна, эта самая Анета, скатерки со стола собират, крошки стряхиват. Я — к ей: относительно вашей личности спрашиваю. Она интересуется: это, говорит, красивый такой, видать, что из благородных?

— Так точно, говорю, это господин капитан, они и есть.

— Нет, говорит, они сегодня не приходили, а так они у нас всегда бывают. А вы денщик ихний? — интересуется. — Денщик, говорю. — Очень, говорит приятно. — Шире-дале, — угошшать

меня зачала: из рюмок изо всех, которы не допиты, разны-то разны вина насливала — целой стакан! Пирожно како-то мне скормила, поди штуки три-четыре — не мене. А там, конешно, далее: интересуюсь, говорит, у вас побывать... Ну, а после на улице как-то встретил: совсем возле нашей квартиры... Так што виноват, господин капитан.

— А много раз она у тебя была? — спросил Яхонтов.

— Да нонче в третий, — смущенно сознался Силантий.

— Ишь ты. Ну, что она — красивая хотя бы?

— Да как, ведь, господин капитан, — на чью потребность глядя... Так-то она ничего. Только черновата малость. Дак нам, ведь, господин капитан, деревеньшине, известно чо надо: побеле штобы да поядрень-ше...

Яхонтов рассмеялся.

— Да-а. А оказывается, ты у меня человек со вкусом: я, ведь, как-будто, припоминаю ее... в кафе «Зон»... Да, помню. Впрочем, вот как выйду на— днях из своей темницы, так нарочно схожу посмотреть... Ну, что ж! Помогай тебе бог! Только смотри!..

— Что вы, господин капитан! Промеж нас ничего такого не было. Она себя строго содерживат. Так — придет, покалякаем, поможет где немножко.

— Как поможет? Чего тебе помогать? — удивился капитан.

— А так по малости, господин капитан. Однова сижу я да пуговки к френчу пришиваю, она и говорит: — давай, говорит, я пришью. И верно: оглянуться не успел — в кою пору!

— Так-так... Так ты что же, жениться на ней задумал?

— Што вы, господин капитан! — возмутился Силантий. — Разве от живой жены женятся?!. Мы ведь не у антихристов, поди! Это у их там хоть сто раз женись, а у нас ведь закон есть!.. Нет уж, так просто: согласно солдатского положенья...

— Ах ты, Фоблаз бородатый! — засмеялся Яхонтов. — Ну, ладно, иди. А девица твоя пускай ходит — ничего против не имею...

— На том благодарим, господин капитан... — щелкнув голенищами, денщик повернулся и вышел.

С этого разговора он вовсе перестал тосковать. Аннета прибегала чуть не каждый день. Силантий к ее приходу всегда тщательно готовился, — волосы напомаживал, а бороду расчесывал, так что в ней не оставалось ни одной крошки махорки.

Зная, когда она придет, он старался подстраивать так, чтобы она заставала его за каким-нибудь наиболее благородным занятием.

Однажды, когда Аннета пришла, он только что приготовился

к разборке и чистке нагана. Утром капитан сказал ему, что сегодня он выйдет из своего заключения и пойдет в город. Поэтому на спинках двух стульев, стоявших рядом с Силантием, развешаны были тщательно выглаженные и вычищенные брюки и френч капитана. На скамейке стояли сапоги, от которых так же, как от висевшей на гвоздике широкой английской портупеи с кобурою револьвера, шло сияние.

На столе, поверх клеенки, разостлано было полотенце и лежала маленькая белая тряпка. На салфетке — наган и отвертка. Под рукой у Силантия стояло блюдечко с бензином и пули в холщовом мешочке.

Казалось, все было готово, но Силантий не начинал работы, он прислушивался. Наконец, он услышал скрип снега: кто-то взбежал на крылечко и нетерпеливо топтался. Это была она. Он условился с Аннетой, что она никогда не будет звонить, чтобы не беспокоить капитана. Силантий быстро взял в левую руку наган, а правой выдвинул шомпол из оси барабана. Затем он, не торопясь пошел открывать дверь.

— Ах ты, борода несчастная! — весело и сердито вскричала девушка, входя в кухню. — Ты что ж это не открывал?! А ну, помоги раздеться. Тоже кавалер называется!

Она была укутана в оренбургский платок поверх зеленой шубы. Силантий неуклюже заходил вокруг Аннеты, не зная, откуда начать развязывать платок.

— А ну, пустите — я сама. — Она быстро разделась и подошла к столу.

— Это что ты делаешь? — спросила она, указывая на револьвер.

— Что? — револьвер разбираю, почистить хочу.

— Разве его чистят, разбирают? А я думала, что он весь цельный! — удивилась Аннета.

— Цельный!.. Ох ты, девичий умок! Да хошь я тебе на пятьдесят частей его раскладу!

— И стрелять будет?

— И стрелять будет, — расхохотался Силантий, — ежели собрать, как полагается.

С этими словами он сел за стол и принялся за разборку, объясняя Анне те каждое свое действие.

— Ну, вот, видишь: шонпол вынул, теперь трубку шонпольную повернул, а теперь ось выну. Теперь чо нам мешат? — дверца, — давай ее — к спусковой скобе. А теперь нате вам — и барабан на ладошке!

Девушка, не отрываясь, смотрела, как он работал. Изредка Силантий брался за отвертку. Дело шло быстро. Когда он забывал

назвать какую-нибудь вновь открывшуюся часть, девушка спрашивала:

— А это?

— А это — шпилька, вроде как у вас. А это — собачка... А это — ползун: вишь — ползает, а это уж — сосок спускового кручка называется, а это... шептало! — сказал он, понижая голос и вытаращив глаза, — вишь шепчет!.. Шептало! — повторил он со вкусом это слово, от которого, очевидно, от него веяло чем-то живым, человеческим в этой машине.

Перетерев все части нагана тряпкой, он приступил к сборке. Аннета несколько раз пробовала помочь, он охотно давал ей наган и потом хохотал во все горло.

— Эх, вы... волос долог! не при вас, видно, сделано!..

— Дай хоть барабан вложу, — рассердилась Аннета.

— На! — сказал он покорно.

Аннета долго пыхтела над барабаном и, наконец, бросила револьвер на стол.

Силантий беззвучно смеялся.

— Эх, ты! — сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы, — да я ведь дверцу-то закрыл. Ну-ка, давай сюда, — он взял у девушки револьвер и, быстро закончив сборку, несколько раз нажал на хвост «спускового крючка», пробуя револьвер.

— Хорош! Ну, теперь — воробушки по гнездам, — сказал он, беря со стола пулю.

— Дай хоть я пульки вложу! — взмолилась Аннета.

— Вклади! — сказал Силантий, довольный, что она утешится хоть этим, и отошел к умывальнику.

— Ну, что? — сказал он, подходя с полотенцем к столу.

— Готово! — весело тряхнув головой, ответила Аннета.

— Ну, вот... капитану скажу, и тебе благодарность будет. Ну, пойти сказать ему: четыре часа уж скоро. Он там в потемках-то ни дня, ни ночи не знат.

Аннета ушла.

Пока капитан обедал и собирался, прошло еще часа два. Он вышел в прихожую, Силантий бросился было за спичками.

— Не надо, — остановил его капитан.

Денщик подал ему шубу, оправил портупею.

— Ну, благословляй, Силантий, — сказал Яхонтов, — первый выход.

— Счастливого пути, господин капитан, — ответил денщик, закрывая за ним дверь.

У Яхонтова закружилась голова, когда он глубоко вдохнул морозный воздух. Он постоял немного на крылечке, затем натянул перчатки и сошел на тротуар.

Осторожно падали редкие снежинки.

— Однако, — подумал капитан, — шесть часов, а как светло! — и вдруг радостно рассмеялся.

— Чертовщина все-таки! — сказал он и зашагал в сторону рощи. Яхонтов жил возле Казачьего базара.

Ему было очень приятно дышать свежим воздухом, и он шел медленно, как-то особенно отчетливо чувствуя стройность и крепость своего тела. Это чувство, впрочем, всегда сопровождало его, когда он был в своей английской шубе и в английской с широким ремнем, а не русской портупее.

Он прошел квартала два, все время с удовольствием убеждаясь, что он не зря потерял этот месяц.

Пересекая Варламовскую, он услышал, как рвется сзади и взвизгивает снег под легкими каблучками быстро идущей женщины. Она прошла мимо него, обдав запахом хороших духов, таким неожиданным и отрадным на морозе, и прошла прямо. И Яхонтова вдруг потянуло туда — на Атамановскую, в рестораны, в общество женщин.

Он остановился, обдумывая, уже не пойти ли в самом деле туда, и в то же время, не сознавая этого ясно, глядел вслед удалявшейся фигуре и думал о том, какая, должно быть, это изящная и стройная женщина. Шуба плотно охватывала ее высокие бедра и, подобно платью, не скрывала очертаний.

Яхонтов быстро перешел улицу и стал догонять незнакомку, стараясь, однако, все время сохранять некоторое расстояние. Она, по-видимому, скоро поняла, что ее преследуют, потому что оглянулась несколько раз, но ничуть не ускорила шагов. Яхонтову это показалось довольно хорошим признаком, и он боялся теперь только одного, что незнакомка живет где-нибудь близко и скоро исчезнет. Он прибавил немного шагу, и вдруг в это время его, привыкшие к темноте, глаза различили впереди, дома за три от незнакомки, две подозрительных фигуры, спрятавшиеся в тени ворот и явно подкарауливавшие кого-то. Яхонтов почувствовал, как все в нем подтянулось, и вместе с тем ощутил радость: «Судьба! Эти двое не пропустят ее так, пристанут, и тогда — какая прекрасная роль для знакомства: спаситель!». Он расстегнул кобуру и быстрыми шагами почти догнал незнакомку...

— Стой! Руки вверх — сопротивленье бесполезно! — услышал он отчаянный и чрезмерно громкий голос, в котором ясно чувствовалось, что сопротивления его боятся.

На него направлено было два дула.

Яхонтов отпрянул и выхватил наган. Они подбегали к нему. Капитан спокойно прицелился в ближайшего. Дважды чакнул

курок. Капитан бросил револьвер и кинулся за угол.

Два. выстрела. Он упал. В последний миг он увидел над собой склоненное, такое знакомое-знакомое лицо женщины... Двое подошли к телу:

— Ну, что? — спросил высокий, сгорбленный, в борчатке и ушастой шапке.

— С ним, — сказала женщина, разгибаясь и протягивая ему тетрадь.

— Ну... — сказал он, пряча тетрадку в карман и торопливо протягивая женщине руку. — Вы тово... бегите...

Товарищ ждал его посредине улицы.

Они бегом пересекли ее наискось к углу квартала, завернули и, пройдя шагом еще полквартала, подошли к низенькой двери, над которой нависала, как козырек, огромная вывеска.

— Кто? — послышался голос из-за двери, и чья-то рука легла с той стороны на крючок.

— Шевро, — тихо сказал высокий.

— Я закупил партию, — ответили из-за двери, и она раскрылась. Они вошли. Запахом свежего хлеба был насыщен воздух помещения, и могучая теплота исходила от огромной печи, занимавшей половину комнаты. За печью виднелся свет. Все трое прошли туда. Это было узкое и длинное подобие комнаты без окон. Стояла деревянная кровать с брошенным на нее полушубком, стол и несколько табуреток. Тускло горела керосиновая лампа. Огромные тени причудливо искажались, надломленные сводчатым потолком.

— Ну, — спросил открывший им дверь полный лысый человек в толстовке.

— Сопротивлялся... — сказал человек в борчатке.

Все трое замолчали.

— Это — с вами? — спросил хозяин.

— Вот. — Человек в борчатке положил на стол смятую, затасканную тетрадку.

— Возьмите табуретки, — сказал в толстовке, сел и, раскрывши тетрадь, слегка вывернул фитиль лампы. Трое склонились над столом.

— Что ж это? — с тревогой сказал в толстовке, перелистав тетрадь, — это совсем не то: здесь о глазах что-то! Чертежи... рисунки...

Его товарищи еще больше нагнулись к тетрадке, чуть не стукнувшись головами.

— А ну... — сказал третий, самый маленький из них, и голос его перехватило от волненья, так что он не мог продолжать.

— Читать? — робко взглянув на человека в толстовке, сказал

он.

— А ну его. Куда к черту! — ответил человек в толстовке, свертывая в трубочку тетрадь и выпуская веером из-под большого пальца ее страницы. — Надо по-нашему: выводы! должны же здесь быть выводы! А ну, Александр, смотрите в конец.

Человек в борчатке взял рукопись из рук товарища и начал просматривать.

— Вот, наверное, — сказал он: «итак»...

— А, — «и т а к» — правильно! Раз «и т а к», значит то, что нам нужно, — рассмеялся он. — А ну, читайте, товарищ, вот как раз с этого «и т а к».

Он еще больше вывернул фитиль.

Человек в борчатке стал читать:

«...Итак, коснувшись физиологии органов чувств, мы установили аналогию между звуком и светом. Воспользуемся этой аналогией для наших рассуждений. Звук есть осознаваемое нами раздражение концевых аппаратов слухового нерва. Причиной этого раздражения мы считаем колебания, возникающие в звучащем теле. Когда число колебаний в секунду становится очень велико, ухо перестает воспринимать их, так же, как и колебания чересчур медленные. Низшая граница — 20 колебаний в секунду, высшая — около 40 тысяч. Колебания менее быстрые, чем 20 в секунду, и более быстрые, чем 40 тысяч, перестают быть звуком для нашего уха. Но это установлено *приблизительно*. Различных степеней тонкости слуха бесчисленное множество. Это хорошо известно каждому. Известно, например, что люди вообще-то с хорошим слухом не могут услышать сверчка или мышиного писка (Это звуки — частых колебаний). Несомненно, существуют люди, которые улавливают звуковые колебания ниже 20 в секунду и выше 40 тысяч. Вряд ли можно сомневаться и в том, что путем соответствующих условий и «упражнения» можно для очень многих из нас добиться тех же результатов. Во всяком случае, этот факт отмечен в житейском обиходе: «Вы знаете, моя девочка уж второй год занимается музыкой и, представьте, у нее очень развился слух!». Трудно сказать, от чего этот несомненный факт больше зависит: оттого ли, что создается привычная концентрация внимания на звуковых ощущениях, т. е. получается, так сказать, *избирательное* внимание или же от каких-то (может быть, молекулярных) изменений в самом воспринимающем аппарате. Для того, чтобы расширить границы колебаний, воспринимаемых, как звук, т. е. попросту говоря, для того, чтобы утончить свой слух, очень важно устранить все слишком сильные влияния на органы слуха. А жизнь, особенно жизнь большого города с его грохотом, полна этими влияниями. Слуховой нерв

ежеминутно грубо травматизируется, в этом большая беда.

Человек, простоявший несколько часов на колокольне в пасхальную ночь, долгое время после этою не годится в качестве слушателя и ценителя скрипки. Один офицер, переживший осаду Осовца немцами, рассказывал, что когда, наконец, он покинул железобетонный каземат, непрерывно гудевший и содрогавшийся от канонады, то долго после этого его забавляло то обстоятельство, что шагах в десяти от гармониста он не слышал звуков гармошки, и ему казалось, что солдат делает только вид, что играет... Мы все знаем, какое значение имеет для четкости нашего восприятия *фон.* На «фоне» тишины до нас доходят такие звуки, которые мы не улавливаем в шумной обстановке.

Я нарочно, пожалуй, даже из педагогических соображений, остановился так много на звуке, потому что заметил, что люди, незнакомые с учением о свете и звуке, а также с физиологией органов чувств, легче усваивают все вышеприведенные рассуждения применительно к звукам.

Теперь мне легко будет перебросить короткий мост к рассуждениям о свете.

Я уже сказал, что здесь открывается огромное принципиальное сходство между звуком и светом. Каждый из семи цветов спектра обусловлен соответствующим количеством «световых» колебаний. Со стороны субъективной здесь дело обстоит аналогично звуку: светоощущение и цветоощущение мы приписываем раздражению элементов сетчатки «световыми» колебаниями. Красный цвет (крайний, с наименьшим числом колебаний) мы воспринимаем при четырехстах биллионов колебаний в секунду. Крайний фиолетовый, еще видимый цвет, соответствует семистам биллионов... Но, кроме видимых лучей, существуют еще невидимые. За красными лучами в сторону уменьшения колебаний идут инфра-красные, затем электрические. За фиолетовыми — ультра-фиолетовые и рентгеновские лучи. Здесь интересно отметить, что существуют насекомые, видящие ультра-фиолетовые лучи.

Конечно, невидимые лучи не имеют сейчас для нас практического значения. Но все это важно, чтобы подчеркнуть относительность наших суждений о свете и о цветах. Нам важно то, что в пределах *видимых* лучей существует бесконечная разница в степени восприятия их различными людьми. Между четырьмястами и семьюстами биллионов колебаний! Несомненным является то, что наши суждения о темноте, об освещении, об интенсивности света весьма относительны и субъективны.

Вообще-то говоря, очень мало случаев, когда мы можем

сказать, что находимся в абсолютной темноте. Конечно, при полном отсутствии света видеть нельзя. Но этого-то полного отсутствия света практически никогда не бывает. То, что для нас — полная тьма, вовсе — не тьма для ночных птиц и кошек. И они видят хорошо в нашей «абсолютной» темноте. О человеке же известно, что, побыв некоторое время в темноте, которая сначала кажется ему абсолютной, он через некоторое время начинает различать предметы: «глаз, говорят, привык к темноте». Сетчатка стала чувствительна к более редким колебаниям.

Здесь полное царство относительности. После освещенной комнаты нам кажется темно, когда мы выйдем ночью на улицу (похоже на то, как после канонады прапорщик перестал слышать гармошку). После сильного раздражителя слабый не ощущается. Наш орган зрения в условиях современной жизни так же, как и слух, подвергается безжалостным травмам сильнейшими раздражителями. Вспомните ярко освещенные электричеством наши помещения, кинематографы и вообще всю жизнь культурного человека! А в то же время интересно, что сибирские бывалые ямщики даже в очень темную зимнюю ночь могут разглядеть следы санных полозьев! Этот факт говорит, во-первых, что даже в самую темную ночь, даже сквозь слой туч, звездное небо дает свет, достигающий земли, во-вторых, что восприимчивость глаза чрезвычайно велика и, в третьих, что ее можно увеличить соответствующими условиями жизни и... «упражнением».

Вот тот ход мыслей, который я преподношу в сжатой и простой форме, и который привел меня к выводу, имеющему совершенно исключительное значение для спасения нашего фронта.

Ясно, что тетрадь эта будет читаться человеком, превосходно знакомым с военным делом, поэтому мне не приходится доказывать, что ночное время, как правило, не является подходящим для широких боевых операций. Это правило подтверждается даже исключениями из него. Ночной удар наносят иногда противнику именно в расчете на ошеломление, зная, что противник ночью считает себя гарантированным от крупного натиска. Здесь, этой неожиданностью ночного удара, накосят противнику психический шок.

Теперь представьте себе, что на фронте появились целые дивизии бойцов, которые ночью видят так же, как днем, т.-е. вернее будет сказать—видят ночью так, как другие видят днем, потому что эти ночные дивизии будут почти слепыми во время дня. Дневной рассеянный свет будет ослеплять их так же, как солнце ослепляет нас, когда мы посмотрим на него.

Итак, «ночные дивизии», обладающие зрением ночных птиц и кошек, находятся на фронте. Представьте, какие данные доставит штабу ночная разведка таких молодцов. Но этого мало — вот утомленный дневными боями противник расположился на отдых и вдруг... планомерно и с полной ориентировкой наша армия обрушивается всей своей массой на противника в одну из темнейших ночей, когда, как говорится, хоть глаз выколи!

Разгром! Паника! Психический шок!

Бегущий противник рассчитывает, по крайней мере, что ночь спасет его от преследования, — напрасно!... Ночные бойцы работают не вслепую!.. Разгром довершен.

Что же нужно сделать для создания этих ночных дивизий? Не выдумка ли все это? — Нет! — отвечаю я.

Пусть уберут все сильные световые раздражители, которые травматизируют светоощущающий орган так же, как артиллерийская стрельба травматизирует слух. Создай, говоря фигурально, «тихий фон». Посади человека на длительный срок в темное помещение, и тогда весь объем восприятия «световых» колебаний передвинется в сторону более медленных. Но объем-то останется. Только то, что было тьмой, будет светом. И когда такой человек выйдет из своего абсолютно темного помещения, то ночь, как бы она ни была темна для других, для него будет почти днем.

Разве нельзя построить такие казармы, где бы солдаты содержались в полной тьме?..

Меня удивляет, как это догадываются создать особые лыжные команды и т. п. и никто из руководителей армий не додумался до создания дивизии ночных бойцов...

Ведь я же не только на основании теоретических соображений говорю это, я сам испытал то, о чем говорю. Больше месяца я не выходил из темной комнаты, а когда вышел из нее ночью в лес, то мне стало жаль тех естественников, которые не пользуются этим средством, чтобы полностью изучить ночную жизнь животного мира.

Ночная природа безбоязненно открывала мне свои тайны...

Практическое указание: воспитывая войска в темноте, можно для проверки результатов употреблять следующий простой способ: надо каждый день разбрасывать в казарме мелкие предметы, например, иголки, и требовать от солдат, чтобы иголки все были собраны.

Курение, как вообще зажигание какого бы то ни было огня в казарме нужно строго воспретить»...

— Все, — сказал читавший, закрывая тетрадь.

Все молчали.

— Да-а... — сказал человек в толстовке, невидящим взором глядя в пространство.

— Да-а... — сказал человек в борчатке.

— Черт возьми! — вскакивая со стула и стукнув кулаком по столу, сказал третий, — если бы этот человек явился туда, к нам, в нашу армию!!!

Часть вторая

1 Мост

— Ах, как хорошо все-таки, что сегодня воскресенье и оба мы не на службе! — говорила Елена, повисая на руке мужа и заставляя его тащить ее по тротуару, чтобы замедлить его шаги.

— Ах, как хорошо! — радовалась она.

Они шли по Лермонтовской мимо политехнического института к церкви. Действительно, было очень хорошо и тепло.

А еще недавно стояли багрово-туманные стужи. Люди, как нахлестанные, бежали по улицам неумелой рысцой, захватывая то нос, то уши. Даже хорошо знакомые предпочитали, по взаимному согласию, не узнавать друг друга, только бы не остановиться, не начать разговаривать. Вбегая в помещение, долго вели себя, как ошалелые, протирая очки, пенсне, сдирая сосульки с бороды и усов, топая ногами.

На улице от каждою вздоха разламывало лоб.

Теперь все переменилось. В сугробах чувствовалась какая-то дряхлость: они утратили свой неприятно-жесткий рельеф. Кресты церквей и проволока, поддерживающая кресты, унизаны были галками, кричавшими и ссорившимися из-за места. Телеграфные проволоки провисли, перегруженные мохнатым снегом, который легко обваливался от каждого мимо пролетавшего воробья и осыпал прохожих. Люди, даже мало знакомые, узнавали друг друга, останавливались, брали друг друга за пуговицы и подолгу разговаривали о пустяках.

Хотелось вобрать в себя весь воздух...

— Знаешь, не верится, что может быть так хорошо... Мне все кажется, что это из сказки, — говорила Елена, указывая на отягощенные снегом деревья. — Да и ты из сказки, — сказала она, взглянув на мужа, — в этой буденовке ты словно русский витязь... правда!.. Вот видишь, — серьезно добавила она, — даже здесь большевики больше русские, чем те, кто ввел эти безобразные фуражки!

— Ну, брось, — притворно сердито ответил он, довольный ее похвалой, — хоть здесь-то забудь свою агитацию!..

Они прошли сад.

— Куда — на Атамановскую? — спросил он.

— Нет, пройдем лучше через мост — на Люблинский.

Они свернули направо и пошли к мосту через Омку.

Омский мост... мост через реку Омь... по неприглядности он вполне достоин своей реки. Извилистая и тощая, с безрадостными берегами, проблуждав сотни верст, она дорвалась до Иртыша, преодолев навоз и нечистоты «Нахаловки», разорвав надвое стиснувший ее город, и отдала, наконец, Иртышу свои мутные и нечистые воды.

Мост невысоко над водой. Летом под ним проходят небольшие шлепанцы-пароходы и проплывают полчища арбузных корок, гак как чуть повыше его всегда стоят плоты с арбузами. Летом в жаркие дни прохожий охотно задерживается на мосту: свежий ветерок от воды вбегает в рукава рубашки, приятно охлаждает тело. Зимой пробегают мост с поднятым воротником: на нем вечный сквозняк.

Этот мост притворяется. Если б мог он прогрохотать о всех тех, кого пронесло по нему за один только год!

Савинков, Брешко-Брешковская, Авксентьев, Колчак, Пепеляев, Каппель, Дитерихс, Войцеховский, Гайда, Павлу и Сыровой, Красильников, Дутов и Анненков, Нокс, Жанен и другие — имя им —легион, — кто из них миновал этот мост?..

Ноги всех иноземных солдат попирали ею. Проходили:

Аккуратные в бою, умеющие думать только по прямой линии чехи.

В шубах с фальшивыми воротниками, подавившиеся своим собственным языком, стоеросовые англичане.

Нелепые в Сибири, в серых крылатках, тонконогие оперные итальянцы.

Голубоштанные завсегдатаи кафешантанов французы.

Сухие, закопченные, не понимающие шуток сербы.

Спесью и грубостью нафаршированные поляки.

Пристыженные белизною сибирского снега суданцы.

Вскормленные шоколадом, консервированным молоком и литературой «Христианского Союза Молодежи» — вихлястые американцы.

Легкие на ногу картонные румыны.

Маленькие похотливые японцы.

А потом, потом, омский мост, помнишь?.. — помнишь, как 14 ноября, наконец, отпечатал свой след на тебе разбитый, рваный красноармейский сапог из цейхгауза Брянского полка?!..

Омский мост! подымись на дыбы — по тебе прогрохотала История!..

Неужели ты позволишь, чтобы нога домашней хозяйки, отправляющейся за мясом, чесноком и петрушкой, попирала тебя?!.

Елена и ее муж шли по мосту. Сквозило. Елена отвертывалась от ветра и закрывала лицо. Муж шел с наветренной стороны, немного опережая ее, скользя рукою в перчатке вдоль перил. Возле самою спуска к проспекту, где кончались перила, опираясь на костыли, стоял оборванный нищий с деревянной левой ногой. Его вытянутая державшая деревянную чашечку, рука, словно отвратительный шлагбаум, преграждала дорогу идущим по этой стороне.

— Погоди-ка, Елена, — пошарив в карманах, сказал муж Елены. Нищий с протянутой рукой ждал. Вдруг рука его дернулась, костыль выпал. Чашечка упала на снег и откатилась по укатанному полозьями спуску.

— Господин капитан?! — хрипло закричал нищий, бросаясь к мужу Елены, хватаясь правой рукой за перила, чтобы не упасть.

— Силантий?!.. Шептало?!.. — сказал Яхонтов.

— Господин капитан!.. — бормотал Силантий, припадая к рукаву Яхонтова и всхлипывая: — Господи!.. Да, господин капитан, вас ли я вижу?!.. — крикнул он в каком-то исступлении, поднимая лицо свое и заглядывая в глаза.

Он был пьян. ,»

В это время Елена подошла к мужу и взяла его под руку. Нищий взглянул на нее. Она побледнела.

— Аннета!.. Гадюка!.. — крикнул он; потом быстро нагнулся и с костылем бросился на Елену.

Яхонтов вытянутой рукой оттолкнул его. Силантий упал. Треснул костыль.

Перепуганная Елена рванула за собой мужа. Он не сопротивлялся. Они почти побежали.

— А-а! Вот, значит, как! А-ха-ха-ха!.. Гас-па-дин капитан! — кричал им нищий вдогонку. Он лежал на брюхе, приподняв голову, глядел им вслед и кричал, перемешивая хохот с площадными ругательствами.

Наконец, он начал приподниматься. Какая-то старуха, шедшая со стороны проспекта, подняла его чашечку, собрала в нее рассыпанные деньги и, проходя мимо Силантия, поставила возле него на снег.

Он посмотрел на нее, выругал и, поднявшись, заковылял в ту сторону, куда ушли Яхонтов и Елена.

Но они были уже далеко.

Они шли молча. Внезапно Яхонтов остановился и вырвал свою руку у Елены.

Она бросилась к нему, схватила за рукав.

— Пусти! — сквозь зубы сказал он и отвернулся.

— Ну, послушай же!.. Гора!.. Георгий! — говорила Елена

тихо, чтобы на них не смотрели прохожие. — Пойдем, пожалуйста!.. Я тебе объясню все...

— Уйди!.. Пойди хоть подыми своего любовника, — указал он в сторону моста.

— Георгий, перестань! — говорила она напряженным шепотом: — Что угодно гам, пристрели, убей... Но только пойдем!.. Видишь, уж смотрят.

Она взяла его под руку, он не сопротивлялся больше. Она вела его, как человека, истощенного тяжелой болезнью. Прохожие оглядывались на них с состраданием.

Елена и Яхонтов жили в большом трехэтажном доме, где было общежитие комсостава. Войдя в свою комнату на втором этаже, Яхонтов бросился на кровать в шинели и в шапке. Он все еще не мог, как следует осмыслить всего, что произошло и открылось сегодня.

Елена тихо подошла к нему и бережно сняла с него буденовку.

Он не двигался.

Тогда она попробовала расстегнуть крючки у ворота шинели.

Он грубо отстранил ее руку. Елена отошла от него. Она готова была уже крикнуть ему злые, оскорбительные слова, как вдруг он передернулся, быстро вскочил с кровати и начал ходить по комнате.

— Да!.. Мило, мило!.. — говорил он, пытаясь иронизировать. — Ах, с каким бы удовольствием послушали об этом офицеры моего батальона: Яхонтов, Яхонтов женился... на любовнице своего денщика... Женился... на проститутке, которая...

Пронзительный крик оборвал его. Он обернулся.

Елена стояла возле туалетного столика, держа в руке бритву. Он подошел к ней и взял бритву.

— Ну, полно! — сказал он. — Расскажи все...

Он усалил ее на кровать, а сам подошел к окну и стал смотреть на улицу, постукивая пальцем по стеклу. Она молчала. Тогда он понял, что ей трудно начать и спросил:

— Почему ты скрывала, что служила в кафе «Зон» и что тебя зовут Аннета, а не Елена?

— Меня зовут Елена.

— Но, ведь, я сам слышал, как мой денщик, т. е., бывший денщик (для чего-то поправился он) назвал тебя Аннетой!

Она молчала.

— Потом, почему ты решила скрыть от меня, что жила с ним?..

— Ах, вот как?!.. — вздрогнув, сказала Елена. — Да! Я скрыла от тебя... скрыла, только не это, а другое... Я скрыла от тебя, что в

то время я работала в подпольной организации.

— Как?!.. Ты — коммунистка?!.. — вскричал Яхонтов.

— Да, я считаю себя коммунисткой! — сказала Елена.

Она остановилась перед ним, глядя в упор.

— Новая ложь! — брезгливо усмехаясь, сказал Яхонтов и вдруг, подойдя к ней, схватил ее за плечи, — да говори же, черт возьми, говори! — закричал он.

Она отвела его руки.

— Если хочешь знать все, то веди себя вежливее.

Яхонтов отошел и сел в кресло.

Елена стала рассказывать.

Она рассказала ему о том, как во время подавления Куломзинского восстания расстреляли ее отца, рабочего железнодорожных мастерских, как после того она, не будучи в подпольной организации, всячески помогала большевикам: бегала с передачами, узнавала на станции, кто из арестованных сидит в вагонах, и ухитрялась видеться с ними. Потом ее стали считать своей, она работала в разведке подполья и, наконец, ее устроили в кафе «Зон», потому что там был хороший пункт: много бывало высшего офицерства.

Яхонтов слушал ее не перебивая. Но, когда она стала рассказывать ему, как ей иногда приходилось подслушивать разговоры, он перебил ее:

— Значит, это была ты — та горничная, у которой я вышиб поднос, когда я открыл дверь?

— Да, это была я.

— Так... ну, продолжай, — сказал Яхонтов.

— Это была я. И я все слышала, весь твой разговор с этим человеком... ты его называл... Федор... нет...

— Ферапонт Иванович, — сказал Яхонтов.

— Да, Ферапонт, верно. Я слышала, как этот человек убеждал тебя, что Омск можно отстоять и что у него такой секрет есть. Я думала тут, что он сейчас скажет все, но услышала только, что он тебе передает какую-то тетрадку; потом ты ему сказал свой адрес, а он свой и вышли. Я тогда страшно перепугалась, когда уронила поднос. Особенно боялась, что хозяйка выбежит. А потом, когда вы ушли, я сказала ей, что это вы виноваты и отдала те деньги, которые ты бросил мне.

— Да, в тот момент вы, товарищ Аннета, очень недалеки были от веревки: Капустин заподозрил тебя, но мне не пришло это в голову, — с насмешкой сказал Яхонтов, подчеркивая слово Аннета.

— Перестань! — сказала Елена строго. — Меня и тогда, как и теперь, звали Еленой, и ты, кажется, достаточно умен для того,

чтобы понять, почему в кафе я называлась иначе. Если ты не перестанешь, я не буду рассказывать.

— О, нет, нет, что вы! Меня еще очень интересует, как вы встретились с вашим первым обладателем, — закрывая глаза, сказал Яхонтов.

Елена первое время не нашлась даже, что сказать.

— Ах, вот как? — протянула она. — Ну, хорошо... А я-то иногда и в самом деле начинала верить тебе, что у вас там в гвардии офицер, оскорбивший женщину, получал репутацию мерзавца...

Яхонтов слегка вздрогнул и молча, и пристально посмотрел на Елену, потом вдруг встал и, подойдя к ней, сдержанно поцеловал ее руку.

— Не сердись, Елена! — сказал он серьезно. — Ты знаешь, как тяжело мне все это слышать!.. Но в этом я тебе верю, — сказал он. — Ты рассказывай, пожалуйста, я прилягу: плохо себя чувствую. — Он снял френч, повесил его на спинку стула и, отстегнув подтяжки, лег на постель и вытянулся.

Елена пересела к нему на кровать. Яхонтов взял папиросу и закурил. Елена заметила, как тряслись его пальцы, когда он подносил к папиросе спичку.

— Значит, Силантий предал меня? — спросил, оживляясь, Яхонтов, когда Елена, выбрасывая подробности, рассказала ему, как она познакомилась с его денщиком, как ходила к нему и как, наконец, во время чистки нагана вложила в наган Яхонтова пустые гильзы.

— Нет, твой Силантий ничего не знал. Я сделала это, когда он отошел к умывальнику.

— Так.. Ну, как же ты все время говорила мне, что ты меня спасла, в то время, как ты сделала то, что меня чуть не убили?!

— Да, тебя чуть не убили, и это я подвела тебя под выстрелы... Я не рассчитывала, что ты пойдешь за мной, но знала, что ты должен выйти, поэтому следила за квартирой и должна была, идя впереди тебя, показать своим товарищам, что это именно тот, кого нужно.

— Скажи, если бы я отдал тетрадку...

— Тебя бы оставили в покое... Теперь слушай дальше, как вышло, что я спасла тебя. Когда ты упал, они убежали. Я должна была скрыться отдельно, потому что мне все-таки в то время далеко не все доверяли, и я, например, не знала всех конспиративных квартир и тех, в частности, куда скрылись мои товарищи, поэтому я подождала немного, пока они не исчезли. И в это время ты застонал, начал приподниматься и опять упал...

Елена рассказывала, волнуясь, как будто снова видя перед

собой, все, о чем рассказывала.

— Нет! — вскричала она. — Мне никогда не передать тебе, что я пережила тогда возле тебя.. Ведь меня каждый миг могли схватить, — нужно было бежать, а я не могла... Если бы ты не застонал!.. Но, когда я увидела, что ты не добит, мне стало ясно, что если я брошу тебя, то ты погибнешь: или от потери крови, или просто замерзнешь, потому что район возле рощи самый безлюдный, да и тогда уж люди вовсе неохотно выходили на улицу... Ну знаешь, мне никогда не передать того, что я тогда пережила!.. Наконец, я подошла к тебе, и с моей помощью ты поднялся!.. Потом этот извозчик! Мне, ведь, пришлось отпустить его за квартал от моей квартиры... А после — эта вечная напряженная ложь! Мне, ведь, пришлось сказать потом, что ты — муж моей сестры, о котором я узнала случайно и взяла из госпиталя, потому что госпиталь эвакуировался... Ты вот сейчас иронизировал, но я твердо могу сказать, что я дважды спасла тебя: в первый раз, когда подобрала тебя, а во второй, помнишь, когда ты еще не мог ходить, как следует, а собрался отступать с какой-то юнкерской школой?.. И, думаю, — сказала она тихо, — что спасу тебя в третий раз, если ты поймешь, наконец, что безумно бороться с советской властью и гибельно для... России, что надо честно и самоотверженно работать.

— Слушай, оставь! — сказал Яхонтов утомленно. — Я прошу тебя: оставь, наконец! — крикнул он, страдальчески сморщившись. — И знай, пожалуйста, раз навсегда, что с предателями родины Яхонтову не по пути!.. Слишком страшная бездна, а у меня, знаешь ли, не хватает прыткости.

— Нет бездны, через которую нельзя было бы перебросить мост! — сказала Елена серьезно. — Вот что, — сказала она, кладя свою руку на его, — у меня к тебе большая, большая просьба.

— Ну?..

— Я хочу... Можешь ты дать мне слово, что выслушаешь все, что я скажу тебе, совершенно спокойно и потом обдумаешь честно и непредубежденно, — способен ты на это?

— Странно! Ты меня обижаешь, — сказал Яхонтов.

— Ну, хорошо, скажи для начала, почему ты считаешь, что большевики — «предатели родины»?

— Гм... странный вопрос! — Брест?! — сказал Яхонтов.

— Ну, вот, я так и знала, — улыбнулась Елена. — А скажи, пожалуйста, много получила Германия русской территории по этому договору?

— Но, ведь, получила бы, если б не германская революция!

— Ах, если бы не «бы»?! И неужели ты думаешь, что большевики, которые с самого начала поставили все на

всемирную революцию, неужели ты думаешь, они не рассчитывали на это?!..

— Ну, знаешь ли, этак задним числом можно оправдать все, что угодно... Да, наконец, допустим даже, что они предвидели, что будет революция в Германии, но вообще-то вся политика их направлена к уничтожению России...

— Так-так. А не смущают тебя некоторые обстоятельства, когда ты начинаешь рассуждать таким образом?

— Какие, например?

— Да возьмем хоть самые близкие: почему это, например, японцы безобразничали на Дальнем Востоке при белых и сразу же смазали пятки, как только пришла туда Красная армия? Дальше — найдутся ли у тебя честные, я подчеркиваю, честные возражения, если я скажу, что и Колчак, и Деникин, и Миллер, и Юденич — все они валялись в ногах у иностранных «высоких комиссаров»? Неужели тебя, русского патриота, не возмущало то, что Жанен и Нокс помыкали твоим «верховным»?!.. Нет, ты погоди возражать, потому что ты дал мне слово возражать честно!

Яхонтов смолчал.

Казалось, Елена разгорячалась все больше и больше. Яхонтов слушал, закрыв глаза. Он был бледен и забыл даже о папиросе, которая потухла в его руке.

Елена, наоборот, курила папиросу за папиросой, глядя в его лицо прищуренными глазами. Если бы знал он, если бы знал этот гордый человек, что сейчас она чувствовала себя, как спокойный и опытный стрелок в тире!.. Елена гордилась сейчас действием слов своих на Яхонтова и в то же время с презрением и нежностью думала о том, какой он ребенок в политике и как легко поддается гипнозу насыщенных эмоциональностью фраз.

«Политические дикари»! — думала она о нем, и о подобных ему, еле сдерживая улыбку.

Когда она кончила, развернув перед ним, неотразимую для его сознания идею, что советская власть приняла на себя все вериги старой России во внешней политике, а в том числе и вековечную злобу Великобритании, — он вскочил, весь трепещущий и обновленный.

— Итак, значит, это — псевдоним?!..

— Как?! — не поняла Елена.

— Как?., очень просто: знаешь, когда человеку неудобно почему-либо подписываться своей фамилией, и он выбирает псевдоним?..

— Знаю, конечно, но при чем тут?..

— Но, ведь, ты только что сказала сейчас, что РСФСР — это то же самое, что Россия, и, понимаешь, это мне очень нравится.

Для меня это целое открытие. Я никогда не думал так.

— Ну... — неопределенно сказала Елена.

Яхонтов подошел к ней. Глаза его горели огнем неофита. Он быстро нагнулся к ней, схватил и, высоко подняв на воздух, закружил по комнате. Потом поставил ее и, отступая на шаг, воскликнул голосом, в котором слышался зарождающийся фанатизм новообращенного:

— Елена!.. Отныне да здравствует Россия под псевдонимом!!!

2 Шелуха жизни

«Об эвакуации Омска можно сказать словами одного умного человека, что это больше, чем преступление, это глупость! Омск — все, вне Омска нет спасения!.. Сзади, в тайге, смерть, впереди — победа!» — так завывали ежедневно передовицы омских газет и все-таки все тянулись в тайгу.

«К оружию, господа! Положение не безнадежно. Наша армия не утратила способность сопротивляться. Она только ждет помощи из тыла, чтобы, собравшись со свежими силами, дать новый толчок красному шарику, после которого он покатится обратно!..» — напрасно: красный жернов катился к берегам Иртыша, и все делали самое благоразумное — вовремя убирали ноги.

Все заметались в поисках за Мининым и Пожарским. Мобилизовались и в первый раз за всю историю народов объединились Крест и Полумесяц.

В субботу 1 ноября кандидаты в Минины и Пожарские сошлись в здании городской думы на особое совещание при начальнике добровольных формирований — генерале Голицине. Пришли представители общественных организаций, кооперации, земств, городского самоуправления, торговли и промышленности. Присутствовали — премьер Вологодский и члены совета министров.

Приехал адмирал.

Собрание открылось горячей приветственной речью по адресу адмирала. Минины нашлись. Правда, жен и детей не закладывали, потому что все они были погружены в теплушки, но остальное достояние свое повергали к стопам правительства. «Земсоюз» мощным жестом бросил свою мошну к ногам адмирала. «Отвернуться от Иркутска и обратить все взоры к Москве», — призывал горячий представитель кооперации.

Верховный ответил на речи: обрисовал положение фронта и сказал, что непосредственной опасности Омску не угрожает. В

заключение он призвал к напряжению всех сил и заявил, что пока воздержится от поголовной мобилизации, так как верит, что мощные кадры добровольцев хлынут в армию.

Всего только четыре дня оставалось до годовщины объявлення адмирала верховным правителем, когда Брянский полк, сделав стоверстный переход, 14 ноября 1919 года ворвался в город.

Это было полной неожиданностью для всех и больше всего для Ферапонта Ивановича.

С тех пор, как Ферапонт Иванович поделился своим гениальным замыслом с капитаном Яхонтовым, прошло около полуторых месяцев. Два или три раза ученый приходил на квартиру к офицеру, и каждый раз его встречал Силантий и так же, как всем другим посетителям, объявлял, что у господина капитана болят глаза, а потому он сидит у себя в кабинете и никого не принимает.

Капустин, слыша такое заявление, не только не пытался нарушить запрет и проникнуть к затворнику, но, наоборот, изображал каждый раз полнейшее удовлетворение и даже радость. С хитрым видом он подмигивал денщику и, ни слова не говоря, удалялся на цыпочках, со всевозможными предосторожностями, как будто там, в комнате, находился тяжело больной.

Зайдя в последний раз к капитану, он был сначала поражен, а потом обрадован, когда Шептало сказал ему, что господина капитана нет — вышел в город.

— Как? уже вышел?!.. — вскричал Капустин и вдруг ни с того, ни с сего вытащил из кармана рублевку и подал ее Силантию.

— Ну, слава богу, Силантий!.. Ура надо кричать! — сказал он, волнуясь и суетясь, и хотел было еще что-то сказать, но в это время, не обращая внимания на то, что они были вдвоем в пустой кухне, Си-лантий так рявкнул «ура», что рука Ферапонта Ивановича, лежавшая на ручке двери, дрогнула, толкнула дверь, и он чуть не упал через порог.

— Ну, ладно, ладно, Силантий, молодец! — сказал Ферапонт Иванович и, поправив шапку, выбежал на улицу.

Он шел сам не свой. «Теперь уж начнется, теперь уж начнется!»... — повторял он вслух и с большим трудом сдерживался, чтобы не крикнуть всем этим, пробегавшим мимо явным «эвакуантам»: «Да бросьте вы все эти помыслы!.. погодите!.. трусы!.. чего вы боитесь?!».

С этого дня жизнь Ферапонта Ивановича ускорилась. У него было такое впечатление, что он все время дышал кислородом. Никогда никакой юноша не ждал с таким нетерпением своего

первого свидания, а начинающий писатель — своего первого гонорара, с каким Ферапонт Иванович ежеутренне встречал газету.

Но каждый номер «Русской армии» приносил ему разочарование. Не было никаких признаков того, что «ночные дивизии» начали свои действия на фронте. Еще, когда появлялись сообщения о боях на Ишиме, где дралась Ижевская дивизия, то не все надежды были утрачены. Одно время, когда из донесений было видно, что 30 и 31 октября белые, получив подкрепление, перешли в контратаку, стремясь удержать Петропавловск, Капустина охватило смутное предчувствие, что эти подкрепления именно они, ночные дивизии.

Но уже в первых числах ноября фронт далеко откатился от Ишима. И вот, в это время одно ужасное подозрение потрясло душу Ферапонта Ивановича. Дело в том, что с необыкновенной тщательностью прочитывая каждый день оперативную сводку и делая сопоставления, он обратил внимание на то, что уже несколько раз упоминалось о ночных атаках красных. Отсюда его больное воображение стало разматывать длинную ленту причин и следствий.

«Да, это так»! — наконец, решил он и, предчувствуя, что подозрения его сейчас только подтвердятся, оделся и, буркнув что-то невнятное супруге своей, Ксаверии Карловне, выбежал на улицу.

Он шел к капитану Яхонтову.

Его встретил полупьяный и сильно опустившийся Силантий. Он рассказал Ферапонту Ивановичу, что капитана уж вторую неделю нет, что он заявлял по начальству об этом, но там думают, что господин капитан скорее всего решился сдаться в плен, а потому и скрывается где-нибудь в городе. Но он-де, Силантий, чувствует, что нет в живых господина капитана. При этом Шептало заревел.

— И не иначе, что тут эта самая девка замешана, — вытирая слезы, говорил он.

— Какая девка? — спросил Ферапонт Иванович.

И Шептало рассказал ему про знакомство с Аннетой и про то, как он давал ей «вкласть пульки» в наган Яхонтова, а потом, когда капитан исчез и Аннета перестала ходить, заподозрил, что тут неладно, и, действительно, увидел, что стреляных гильз в мешочке не оказалось...

— Что же, выходит, что я, дурноголовый, через эту гадюку своего господина капитана погубил?!.. — кричал он.

Ферапонт Иванович старался успокоить его:

— Да брось ты, Силантий! Могло и так выйти, что капитан

твой давным-давно на фронте.

— Дак дай ты бог! Коли бы так, я уж ему все вещицы-то его до единой бы сберег. Я уж все подобрал; только наш батальон станет уходить, так и я с ним.

— А батальон где? — спросил Ферапонт Иванович.

— Дак здесь, только в самом-то я не был, а писарь мне сказал, что и на фронт-то их не погонят: на глаза будто поветрие какое-то напало, вроде, как у господина капитана. Так что у всех у солдат-то от свету глаза слиплись.

— А!.. — только и мог сказать Капустин.

— Ну, ладно, Силантий, прощай. В случае чего, так адрес мой знаешь.

— До свиданьиса, Ферапонт Иванович... Душа человек!

Капустин ушел.

Теперь для Ферапонта Ивановича окончательно ясно стало, что Яхонтов оказался предателем, погубил дело в самом начале и, что красные, несомненно, в последних ночных боях воспользовались, хотя бы частично, его гениальным открытием..!

У Капустина пропал всякий вкус к жизни и как-то само собой вышло гак, что всю дорогу он медленно и с некоторой скукой даже перебирал все виды самоубийства, оценивая их, как врач, по степени приятности.

По всем данным выходило, что приятнее всего повеситься: судя по всем случаям, когда самоубийцу находили повесившимся, например, на спинке кровати и сидящим на полу, можно было заключить, что потеря сознания при таком способе выхода в тираж происходит столь быстро, что самоубийца, имевший, казалось .бы, полную возможность встать с пола и снять с себя петлю, не мог, однако, этого сделать. Теория, объясняющая быструю потерю сознания и быструю смерть при повешении гем, что зубовидный отросток второго шейного позвонка вдавливается в мозг на месте перехода спинного в продолговатый, тоже как будто подтверждает такой выбор. Наконец, Ферапонт Иванович по некоторым предсмертным явлениям, бывающим при повешении, имел основание предполагать, что при этом способе самоубийства человек испытывает даже некоторое сладострастное ощущение.

Словом, выбор был сделан: веревка.

И Ферапонт Иванович решил, что нет никаких оснований откладывать дела в долгий ящик.

Когда он пришел домой, было около десяти часов ночи. Ксаверия Карловна, видимо, спала, по крайней мере, глаза ее были закрыты. Однако, по неестественно плотно сжатым тонким губам своей супруги Ферапонт Иванович определил, что ему не

приходится ждать ничего хорошего. Он устал страшно. А это ожидание неминуемой сцены с супругой приводило его в состояние, когда хочется зарыться куда-нибудь, чтобы никто не трогал. Он не находил в себе сил выдержать неизбежное столкновение.

Все было к одному.

Он знал, что веревка лежит под кроватью, но теперь не могло быть и речи о том, чтобы достать ее, так как на кровати лежала Ксаверия Карловна. Он вспомнил, что на нем были подтяжки.

На столе стоял стакан молока, приготовленный для него Ксаве-рией Карловной, и на тарелке два ломтика хлеба.

«Если я пойду сейчас в чулан, она подумает, что я пошел за хлебом», — решил Ферапонт Иванович и, нарочно взяв тарелку, и косясь ни неподвижно лежавшую Ксаверию Карловну, вышел в сени. Он знал хорошо, что где стоит в чулане, потому что со времени, когда он остался без службы, Ксаверия Карловна заставляла его помогать по хозяйству.

В темноте он нащупал вбитый в стену большой гвоздь и, сняв висевший на нем окорок, принялся привязывать к гвоздю подтяжки. Потом он сделал петлю и, ступив одной ногой на крышку какой-то кадушки, а другой на нижнюю полку, он взял обеими руками петлю, чтобы всунуть в нее голову, и вдруг с грохотом и треском повалился... Он почувствовал, что левая нога его погрузилась в мокрое и холодное.

— В капусту!.. В кадку с кислой капустой!.. — быстро осознал он, и его бросило в холодный пот.

Секунду, не вытаскивая ноги из кадочки, он прислушивался. — «Да, идет!» — на кухне слышался шум.

Он вытащил ногу и убедился вдруг с ужасом, что ботинок его остался в кадушке... «Пропал!» — подумал он, и сердце его отчаянно заколотилось.

Ксаверия Карловна, с лампой в левой руке, входила в чулан...

Первое, что ей бросилось в глаза, это подтяжки с завязанной на конце петлей, которые держал бледный Ферапонт Иванович.

Резким движением, сразу поняв все, она выхватила подтяжки у него из рук, сопровождая движение свое вопрошающе-гневным взглядом.

И вдруг в это самое время взгляд ее упал на левую ногу Ферапонта Ивановича.

Вся левая штанина его вымокла и плотно облегла его худую ляжку. Мокрые волокна капусты облепляли тут и там брюки.

Открытая кадушка, крышка, валявшаяся на иолу и левая нога Ферапонта Ивановича в одном мокром носке не оставляли сомнения в происшедшем.

Ксаверия Карловна взвизгнула и чуть не выронила лампы. Она бросила подтяжки, поставила лампу на полку и кинулась к кадушке.

— Господи?! Что это, что это?!.. Да безобразник, безобразник ты! — кричала она в неистовстве, потрясая за шнурок вытащенным из капусты штиблетом, с которого лился рассол. Да знаешь ли ты, что теперь ты мне целую кадушку испортил, а?!

Ксаверия Карловна с омерзением бросила мокрый ботинок в угол.

— Ты сам сумасшедший! Какой ты психиатр, когда ты сам сумасшедший!.. Ты знаешь, что капусты этой нам бы на год хватило?!. А стоит сколько?!. Ты за последние полгода хоть копейку принес в дом? Ты, ведь, не думал!.. Психиатрия у тебя в голове, а что толку-то?!.. Психиатрия! Подумаешь, ведь он — психиатр! — говорила она язвительно. — А кому ты нужен, когда теперь все поголовно сумасшедшие?!.

Ферапонт Иванович молчал. Он с удивлением думал, что Ксаверия Карловна точь-в-точь повторяет слова князя Куракина, когда он, Ферапонт Иванович, пришел просить, чтобы князь устроил его где-нибудь в Красном Кресте:

— Да, ведь, вот, доктор, все несчастье-то в том, что вы — психиатр. Нам, ведь, теперь либо совсем психиатры не нужны, либо их целый корпус нужен, — сказал Куракин, показывая в окно кабинета, откуда видна была улица, запруженная обозами отступающих войск...

— Психиатр! — не унималась Ксаверия Карловна. — Знаю, почему ты психиатрию избрал: чтобы перед бабами интересничать! Как же, — они это любят: «ах, знаете ли, он — психиатр!» — передразнила она кого-то, закатывая глаза. — Был бы гинеколог или хирург, так не приглашали бы на спиритические сеансы объяснять «с научной точки зрения»! Знаю я эти сеансы: сидите там в темноте, бог его знает что...

Ферапонт Иванович молчал: в этих словах ревнивой женщины было много правды. За последнее время все те, кому не удалось попасть в теплушки, предались неистовому спиритизму. Общение с умершими приняло какой-то повальный характер. Развелось бесчисленное количество бесчисленных кружков, начиная от мелких и несерьезных, где дело не шло дальше вращения блюдечка, и кончая высшими и замкнутыми кружками, которые имели своих постоянных медиумов.

Особенно выделялся кружок Нелли Быховской, недавно овдовевшей беженки из Самары. В этом кружке существовало какое-то прямо-таки болезненное стремление к тому, чтобы все, что происходило на этих сеансах — все феномены «анимические»

и «спиритические» были санкционированы наукой, объяснены в свете новейших данных физики и психологии.

В этот кружок особенно часто приглашали Ферапонта Ивановича, и он шел туда очень охотно, считая, что объективный исследователь не должен проявлять консерватизма, и не боясь, что эти участия в сеансах могут бросить тень на его ученую репутацию после того, как область таинственных явлений человеческой психики сделали предметом своего изучения такие ученые, как Крукс, Лодж, Скиапарелли, Фламмарион, Менделеев, Бутлеров, Шарль, Рише, Джемс, Бехтерев и другие.

Правда, Ксаверия Карловна находила другие причины посещения Ферапонтом Ивановичем кружка Нелли Быховской, насчет чего и намекала сейчас своему супругу.

Она, кажется, еще собиралась продолжать свои излияния по поводу испорченной капусты и спиритических сеансов, но в это время Ферапонт Иванович не вытерпел:

— Ксавочка, я, ведь, простужусь! — сказал он, показывая глазами на свою необутую и мокрую ногу, от которой шел пар.

— Простудишься!.. Этого еще не хватало! — сказала Ксаверия г Карловна, но уж значительно мягче. — Ладно, иди уж, иди, — добавила она совсем мягко, выпроваживая мужа из чулана и принимаясь наводить порядок, нарушенный неудачной попыткой к самоубийству.

Через полчаса злополучные брюки, носок и ботинок Ферапонта Ивановича сохли у плиты, а сам он лежал, укрытый двумя одеялами и пил горячий малиновый отвар.

Ночь прошла хорошо.

Наутро, часов в семь, Ксаверия Карловна растолкала мужа:

— Ферри, вставай, нужно в молочную сбегать.

Ферапонт Иванович, жмурясь и потягиваясь до хруста в суставах, начал вставать.

— Выпей — там стакан молока стоит под крышкой, — сонным голосом сказала Ксаверия Карловна, поворачиваясь лицом к стене.

Ферапонт Иванович наскоро поел и побежал за молоком. Попутно он решил купить газету. «В последний раз», — решил он при этом.

На улице было пусто. Это объяснялось вовсе не тем, что было слишком рано (было уж около 8 часов), а тем, что служилый народ уже дня два, как отсиживался дома и не выходил в учреждения.

Вот что писал по этому поводу «Сибирский казак»:

«...Нашим корреспондентам за последнее время не удалось получить нигде ни одной заметки.

Все бездействует. Все опустили руки.

Управляющий областью должен сам писать бумажку: служащие не изволили явиться на службу.

Служащие совета министров облеклись на случай эвакуации в теплые пимы и бродят по своим апартаментам, как обитатели страны теней.

И так везде.

Опомнитесь, господа!

Да, опасность, которая нависла над Омском с запада, серьезна, но, в десять раз серьезнее для всего дела возрождения России та опасность, которую вы носите в себе. И имя этой опасности — безволие и апатия, словом, психология лягушки, добровольно прыгающей в пасть неподвижно лежащего ужа».

Никто, буквально никто не предвидел, что удав, которого они для поднятия духа называли ужом, уже охватил город...

Ферапонт Иванович в молочной пробежал газету, засунул ее в карман и, погруженный в безотрадные думы о полном развале армии, медленно пошел домой по Атамановской улице, слегка покачивая кринку с молоком, подвязанную веревочкой.

Когда он переходил улицу, его чуть не затоптали.

— Эй-эй! — услышал он дикий окрик над собой, и тут же горячее дыхание и храп коня обдали его, а он инстинктивно отпрыгнул.

Дивный вороной жеребец, с высоко задранной головой, нагло и развязно выбрасывая передние копыта и время от времени ударяя в передок задними, весь в облаке снежной пыли, промчал мимо него легкие высокие санки.

В них сидел высокий, старый военный, в папахе и в прекрасной шинели голубоватого, «офицерского» сукна.

Капустин посмотрел ему вслед.

Вдруг санки круто остановились. Капустин увидел, как военный начальническим мановением пальца подзывал кого-то с тротуара.

Группа солдат не по форме пестро одетых, с небрежно закинутыми за плечи винтовками, в недоумении или смущении переглядывалась между собой.

Наконец, один из них что-то сказал своим товарищам, и все стали переходить улицу.

Когда они были совсем близко, военный поправил кожаную перчатку на правой руке и сделал движение, как бы желая вылезть из санок.

Кучер быстро отстегнул полость.

Военный спустил левую ногу на снег и ждал.

Ферапонт Иванович, подойдя поближе, разглядел, что это

был генерал.

Солдаты подошли близко и остановились переглядываясь.

— Вы что ж это, братцы, — вкрадчиво и протяжно начал генерал прищурившись, — праздник, видно, решили устроить, без погончиков решили прогуляться или, может, погоны на заплатки пошли, а?!..

Генерал откинул полость и еще раз натянув потуже перчатку, стал было вылезать, но вдруг отшатнулся.

Передний из солдат вплотную надвинулся на него и, нагло улыбаясь, спросил:

— Да ты, земляк, из какой губернии, а?.. А ну, ребята, видали вы его такого чудака? — обратился он к остальным, подмигивая, и вдруг рванул генерала за воротник так, что отлетели верхние пуговицы, и вытащил его из саней.

Генерал понял. Он молча стоял перед солдатами.

— Гляди-ка, ребята, да он изнутри-то совсем наш! — сказал все тот же солдат, распахивая на нем шинель и указывая на красную подкладку. Потом он быстро нагнулся и отхватил огромный кусок генеральской подкладки.

Ферапонт Иванович выронил кринку с молоком.

Все тот же солдат нацепил кусок красной подкладки на штык и подтолкнул генерала:

— Пойдемте, ваше превосходительство!

И со смехом и шутками они повели генерала.

Однако, скоро удовольствие их было испорчено: какой-то военный — «красный командир, должно быть», — подумал Капустин, — встретил их на перекрестке, что-то сказал, и они быстро, сняв тряпку, повели свою добычу попросту.

Когда Ферапонт Иванович явился домой, Ксаверию Карловну удивило отсутствие кринки с молоком и растерянный, прямо-таки ошалелый вид его.

— Что с тобой? Молоко где? — спросила она.

— Разбил... — больше прочла по движению губ его, чем услышала Ксаверия Карловна-, и ей сразу сделалось ясно, отчего у него такой вид.

И тогда началось. И было во много-много раз хуже, чем в чулане.

Она припомнила ему все: и капусту, и все разбитые им когда-либо стаканы, и стоптанные безвременно сапоги, и спиритические сеансы. Итог получился потрясающий: им грозило полное разорение, благодаря поведению Ферапонта Ивановича.

Кончилось все это истерикой, и Ферапонту Ивановичу пришлось довольно долго отваживаться.

Очнувшись, Ксаверия Карловна заявила ему, что не может

лицезреть его, а потому уйдет к соседям и пробудет там долго. Однако, вернулась она перед вечером и в таком потрясенном виде, что Ферапонт Иванович испугался, так как такое случалось очень редко.

— Ферри! *Они* пришли!.. — крикнула она еще с порога.

— А я их еще утром видел, — спокойно сказал Ферапонт Иванович.

— Как?!.. Почему же ты не сказал?!.. — вскричала Ксаверия Карловна, готовая снова разгневаться.

Ферапонт Иванович молча развел руками и печально улыбнулся, и улыбка эта ясно говорила: чего, мол, ты спрашиваешь, если сама знаешь, почему!..

И, действительно, Ксаверия Карловна поняла, потому что вдруг сильно покраснела и замолчала.

Эта ночь, а также и много последующих дней и ночей протекли так тихо и хорошо, что могли создать иллюзию медового месяца Капустиных.

Однако, тучи сгущались. Мрачное предсказание Ксаверии Карловны оправдалось вполне: все было прожито, и им угрожала нищета.

Преодолев свое отвращение и ненависть к большевикам, Ферапонт Иванович, побуждаемый к тому супругою, отважился, наконец, зарегистрироваться на бирже труда.

Зарегистрировавшись, он почти ежедневно ходил справляться, нет ли требований.

— Профессия? — коротко спрашивал его корявый человек за перегородкой, берясь за какие-то бумаги, и сразу же, как только Капустин говорил — «психиатр», — он решительно откладывал бумаги и говорил «нет» с таким выражением, словно он хотел сказать: «и каких, каких только дармоедов не бывает на свете!».

Наконец, фигура Ферапонта Ивановича примелькалась ему; ему, видно, сделалось жалко его, и однажды, когда Капустин подошел к решетке и сказал свою профессию, парень сдвинул кожаный картуз на затылок, поцарапал карандашом голову и сказал с сочувствием, которое умерялось, однако, официальным тоном:

— В театральную секцию сходите, товарищ!

После этого совета Ферапонт Иванович перестал предлагать свой труд.

Так прошло около двух недель, и вдруг одна из знакомых посоветовала через Ксаверию Карловну, чтобы Ферапонт Иванович сходил в губнаробраз насчет места учителя. Ксаверия Карловна наутро погнала мужа в губнаробраз, и все удивительно просто устроилось.

Когда в губнаробразе узнали, что Ферапонт Иванович психиатр, а согласен на какое угодно место, то удивились и обрадовались.

Ферапонту Ивановичу предложили место заведывающего колонией умственно-отсталых детей, причем было предложено выехать немедленно и выданы были подъемные.

Решено было выехать через три дня, и Ксаверия Карловна приступила к ликвидации того, что не предполагала взять с собой.

Наступил вечер накануне отъезда.

Капустины сидели в кухне за чаем. Все было уже увязано, упаковано, стены оголились.

Пили чай молча.

Вдруг Ксаверия Карловна, доливавшая чайник, закрыла кран и, выпрямившись, прислушалась: возле окон кухни, выходивших на двор, послышались странные звуки, — как будто кто-то редко ступал и в то же время ввинчивал в снег палку или каблук.

Те же звуки послышались близко и, наконец, прекратились на крыльце.

В дверь постучали.

Ксаверия Карловна встала и, подойдя к порогу и распахнув дверь, чтобы светлее было в сенках, спросила, придерживаясь за крючок:

— Кто там?

— К Ферапонту Ивановичу, — послышался глухой хриплый голос.

Ксаверия Карловна сняла крючок.

Постукивая деревяшкой и костылями, не останавливаясь в сенях, приняв, должно быть, Ксаверию Карловну за прислугу, в кухню вошел человек в рваной шинели.

— Силантий?!.. — вскричал Ферапонт Иванович, выглянув из-за самовара. Он вскричал это радостно, но тут же замолчал, не зная, как встречать, как разговаривать дальше с Силантием, потому что неизвестно было, как отнесется Ксаверия Карловна к приходу такого гостя.

Силантий снял шапку, поздоровался и остановился у порога.

Ферапонт Иванович вылез из-за стола и, поздоровавшись с Силантием, стал объяснять Ксаверии Карловне, кто это такой.

Вопреки его ожиданиям, она отнеслась к гостю очень хорошо, поздоровалась за руку и пригласила за стол.

Силантий, смущаясь и отказываясь, стал раздеваться. Он помялся еще немного, не зная, куда деть свои костыли, затем, когда Ксаверия Карловна подала ему стул, сел и прислонил их к лавке.

Хозяйка налила чай.

Силантий смотрел на стакан, ожидая, пока он остынет, и молчал.

— Силантий, как же вы это — того?.. — начал неловко Ферапонт Иванович, кивнув головой на костыли, и не докончил.

Силантий, отпивший в это время глоток чаю, поперхнулся, закашлялся, собираясь ответить, и вдруг махнул грязной загрубевшей рукой, и слезы покатились у него по липу.

Ферапонт Иванович нисколько не удивился этому, потому что, когда здоровался с ним, то почувствовал запах винного перегара.

Зато Ксаверия Карловна глядела на гостя с видимым состраданием, и слезы готовы были выступить на ее глазах.

— Эх, Ферапонт Иванович! — сказал, покачав головой, Силантий. —Да разве мне-то трудно, что я ноги лишился!.. Сколь из нас и жись свою отдали!.. Нет, а то мне горько, что все — за его собственные вещи, а он, пакостник, мерзавес он оказался! — сквозь слезы закричал он, ожесточаясь и стуча кулаком по столу.

— Кто? — спросил, бледнея, Ферапонт Иванович, зная, кого назовет Силантий.

— А кто для меня дороже отса-матери был?!.. На кого я богу молился?!.. Кто, Ферапонт Иванович, что не капитан Яхонтов?!..

— А где он? — тихо спросил Ферапонт Иванович.

— Где?!.. — презрительно засмеялся Силантий. — А где ему быть?!.. Это наш брат, скотинка, калечится да пропадает, а до него и теперь не скоро достанешь! Красный командир, язви его!.. Христо-продавес! У!..

Он еще, видимо, хотел прибавить что-нибудь потяжеловеснее, но присутствие Ксаверии Карловны удержало его.

Мало-помалу Ферапонт Иванович выспросил у него все и узнал, что Силантий отступал с батальоном — где пешком, где на подводах, в надежде, что встретит где-нибудь за Омском своего капитана и доставит ему вещи в целости и сохранности. Так добрался он до Калачинска с имуществом капитана, а там отморозил ногу, и его, когда он попал в плен, отправили в Омск в госпиталь и отрезали ногу.

С гневом и болью рассказал Ферапонту Ивановичу Силантий, как встретил он Яхонтова на мосту и, как Яхонтов толкнул его в грудь, когда он бросился с костылем на Аннету.

Капустин долго молчал, когда Силантий кончил рассказывать. Душа его содрогалась от мерзости и подлости человека, которого он считал кровно благородным и мужественным. Теперь для Ферапонта Ивановича ясно было, что Яхонтов перешел на сторону красных и отдал им тетрадь о

ночных дивизиях.

Силантий засобирался.

— Благодарю за угошшение, — сказал он, опрокидывая чашку на блюдечко и кладя на донышко огрызок сахара.

Он потянулся за костылями.

— Погодите минуточку! — вдруг остановила его Ксаверия Карловна и, выйдя из-за стола, позвала мужа в комнату.

Они совещались там долго.

Наконец, из комнаты вышел Ферапонт Иванович и, не имея сил скрыть свою радость и гордость жениной добротой, объявил Силантию улыбаясь:

— Знаешь, жена хочет, чтобы ты с нами поехал, а пока оставайся ночевать.

— Дак как же?!. Что это будет... куды вы меня денете? — растерянно, не веря своим ушам, забормотал Силантий.

— Ну, это ерунда!.. Устроимся... Ну, там помогать, что будешь... потом, может быть, сторожем или что... — сказал Капустин.

— Господи! да ведь как же это?!. Да ведь кто я теперь?!.. Куды я гожусь?!.. Шелуха жизни! — сказал Силантий, махнув рукой, и заплакал.

— Да брось, Силантий, что там говорить! — сказал Ферапонт Иванович, похлопав его по плечу. — Все мы, брат, теперь — шелуха жизни! Теперь вот такие, как твой капитан, те далеко пойдут! — сказал Ферапонт Иванович, представляя с горечью всю силу и энергию, и ум человека, погубившего его планы. — Да... он и у них далеко пойдет!..

— Ну, это ведь кто его знат! — сказал Силантий, подымая голову, и в голосе его Капустину почудилась угроза...

3 Идиоты, имбецильчики, дебилики

За городом мороз был особенно силен. Казалось, что полозья раздирают снег, и временами трудно становилось переносить этот звук. Ехали все время шагом. На первых «салагах», где сидел ямщик, сложено было все имущество Капустиных, уцелевшее от мены и продажи: здесь, в объятиях бархатного развалистого кресла стыдливо лежало стиральное корыто, показывая всем свою грязную спину; пимы — совершенные инвалиды по внешности — прятались от ветра в квашне, укрытые сверху полосатой периной, на которой привольно раскинулась широкобедрая гитара в соседстве ночною горшка, в ручку которого продернута была веревка, опутывавшая весь воз вдоль и поперек.

— Я прямо от стыда сгораю! — шипела Ксаверия Карловна на ухо своему супругу, когда они проезжали городом, и даже слезла со вторых розвальней и пошла по тротуару, чтобы показать, что она не имеет никакого отношения к этим вещам.

Укладывал и увязывал все сам Ферапонт Иванович.

На вторых розвальнях ехали они трое. Одеты были все плохо и сильно мерзли. Ферапонт Иванович то и дело соскакивал и принимался бежать, догоняя сани. Он несколько раз пробовал уговорить супругу, чтобы она проделала то же, но напрасно: она сидела, скорчившись, подобрав под себя ноги, и старалась укрыться вся огромной коричневой шалью.

Силантий сидел рядом, в шинели, без рукавиц, курил цыгарку и пошучивал:

— Вот, Ксаверия Карловна, у вас, поди, ножки зябнут, хоть вы и в пимиках, а моей вот ноге гак ничего, — сказал он, похлопывая ладонью свою деревяшку, — ведь, голенькая, бог с ей, бороздит себе снежок и хоть бы что! Эх, другую бы мне такую!..

— Что, вы, Силантий, что вы! — укоризненно сказала Ксаверия Карловна, — в добрый час будь сказано!

— Ничего! Доедем скоро, — сказал Силантий. — Пятнадцать верст — невелика фажность!.. А ну, Ферапонт Иванович, подгони лошаденку-то, — крикнул он Капустину, который, стараясь согреться, шел сбоку саней.

— Ну, ну! — закричал Ферапонт Иванович, подбегая к передней лошади и хлопая рукавами своей длинной шубы.

Лошади побежали быстрее.

Приехали они во втором часу; воспитанники только что отобедали и бегали по двору. Как только въехали в огромный запущенный двор, обнесенный со всех сторон навесом, целая орава ребятишек бросилась к возам. Они принялись трогать и даже вытаскивать плохо привязанные вещи, а двое из них вскарабкались по веревкам на самый воз и теперь, страшно крича, плясали там и дразнили тех, кто был внизу. Но этим понравилось совсем другое: они все обступили Силантия и, раскрыв рты и распустив сопли, смотрели на костыли и в особенности на деревяшку.

На Ферапонта Ивановича и его жену не обращали никакою внимания.

Зато Ферапонт Иванович внимательно приглядывался к своим будущим воспитанникам и пациентам, стараясь по выражению лица и по поведению определить, кто из них — дебилик, кто — имбецилик, кто — идиот.

В это время некоторые из ребят дошли уж до тою, что сели на землю и, обхватив деревянную, отполированную жизнью,

блестящую на солнце ногу Силантия, стали лизать ее, а потом и грызть.

— Да это чо же тако?!.. — испуганно говорил он, стараясь оторвать их, — это чисто, макаки, а не хто более! Дьявола каки-то!.. Ферапонт Иваныч, куды это мы с вами заехали?!..

— Они — слабоумные, Силантий, — ответил, улыбаясь, Ферапонт Иванович.

— Ага!.. Вон што, — облегченно сказал Силантий. — Это, значит, в роде как сумашедши, што ли? — спросил он.

— Да нет, видишь ли... Это... — и Ферапонт Иванович принялся было популяризировать понятие олигофрении, но в это время совсем замерзшая Ксаверия Карловна дернула его за рукав.

— Будет уж тебе! После лекцию прочитаешь, а теперь — погляди-ка: они скоро ведь все у нас растащат. Да и надо же куда-нибудь устроиться-то! О чем это ты думаешь?! — возмущенно проговорила она.

В это время из детского дома вышли: воспитательница — белокурая девушка в шубе, но без платка, и кухарка и принялись загонять ребятишек.

Ферапонт Иванович подошел к воспитательнице и представился. Она, видимо, искренне и очень обрадовавшись, поздоровалась и подошла с ним к возам. Ферапонт Иванович познакомил ее с Ксаверией Карловной и представил Силантия.

— А скажите, пожалуйста, — спросил он потом ее, — где нам будет квартира?

— А!.. Пожалуйста, пожалуйста, я вас проведу, — сказала она и повела Капустиных к маленькому деревянному флигелю, опалубленному и выкрашенному в зеленую краску.

Силантий остался развязывать вещи. Кухарка загнала в дом ребятишек, вышла и стала ему помогать...

— Здесь сейчас наш фельдшер живет, — говорила воспитательница, вводя их в маленькие сенцы, — но он так живет: чтобы не выхолаживать здание, а у него комната в большом здании, так что он сейчас же может перебраться... А раньше в этом флигелечке пыхтинский приказчик жил: это раньше ведь купца Пыхтина заимка была, — пояснила она, открывая дверь в кухню.

Все вошли.

В приоткрытую дверь комнаты видно было, как сидевший у стола человек торопливо застегивал ворот рубашки и подпоясывался.

Воспитательница познакомила и с фельдшером. Это был тихий, пахнущий йодоформом, молодой человек.

— А я вот на зайцев собирался, — говорил он в смущении,

указывая на рассыпанные по столу пыжи и патроны, — от скуки вот охотником сделался.

— А здесь, должно быть, очень скучно? — спросила Ксаверия Карловна.

— Да, знаете ли... Нас ведь здесь трое всего, персонала-то... Вот теперь веселее будет с вами... Ну, побегу: гам ведь, наверное, помочь понадобится с вещами, а потом самоварчик организуем. — Фельдшер вышел.

Ферапонт Иванович пошел с ним.

Быстро перетаскивали вещи, кое-что — комод, шкаф, стулья — втащили сразу в комнату, остальное оставили в кухне.

Фельдшер побежал ставить самовар.

За чаем как-то быстро почувствовали себя хорошо знакомыми друг с другом, и начались простые разговоры.

— Много у вас здесь воспитанников? — спросил Ферапонт Иванович.

— Да человек пятьдесят, — ответил фельдшер. — Ох, знаете ли, — добавил он улыбаясь, — и чудаки же между ним есть которые!.. Немыслимо себе представить!.. Иной, знаете, такое коленце выкинет, что глядишь на него, до надсады нахохочешься!.. Ей-богу!

— Извиняюсь!.. — Робко вступил в разговор, внимательно слушавший, Силантий. — Это для чего же их держат, скажите на милось?! Ведь, по-моему, обложить бы их просто-напросто соломой да и спалить! На кой их шут кормить-то?!. — Спали-и-ть!..

— Да ведь они же больные, — сказал Ферапонт Иванович.

Ксаверия Карловна и даже фельдшер поддержали, однако, Силантия.

— Ну, сжечь — не сжечь — это жестоко слишком, но отравить их как-нибудь безболезненно следовало бы, — сказала Ксаверия Карловна.

— Конечно, — сказал фельдшер, — тем более, что раз они идиоты, их все равно не вылечишь.

— Совершенно верно, — тихо сказал Капустин, который всегда смущался, если приходилось не соглашаться с собеседником, — но это только в отношении идиотов, а дебилики и даже некоторые имбецилы...

— Как? — переспросил фельдшер.

— Я говорю, что в отношении дебиликов, а также некоторых случаев имбецильности прогноз может быть очень благоприятный, конечно, при соответствующем лечении и педагогическом воздействии.

— Вот как? — не то удивляясь, не то не доверяя, сказал

фельдшер — А позвольте узнать, — осторожно спросил он, — профессия ваша какая?

— Да я как раз психиатр... с педологией немного знаком, — ответил Ферапонт Иванович,

— А!.. — сказал фельдшер и почти весь вечер после этого молчал.

Однако, на следующий день, когда Ферапонт Иванович отправился знакомиться с детдомом, и во время всей дальнейшей работы Капустин мог убедиться, что приобрел в липе фельдшера ревностного ученика и исполнительного помощника.

Детский дом предстал перед Ферапонтом Ивановичем в том именно состоянии, в каком Капустин и ожидал увидеть его, т. е. в том, в каком находилось в то время большинство детских домов — в состоянии нищеты и запущенности.

И все-таки в грязном и холодном помещении, где жили оборванные и полуголодные дети, стояло неизбежное пианино.

Это возмутило даже Силантия.

Ему Ферапонт Иванович на свою ответственность поручил заведывание всей хозяйственной жизнью детского дома, и Силантий, до глубины души потрясенный тем, что он уж как будто не совсем-то «шелуха жизни», не знал ни минуты покоя, и его деревяшка то постукивала тут и там по детдому, то поскрипывала по утоптанному и укатанному двору.

Оказалось, что он великолепно бегал без своих костылей.

Ребята относились к нему, как к существу особенному, и Ферапонт Иванович заметил, как первое время многие из них старались подражать его походке и стуку деревяшки.

Даже семилетний идиот, с огромной головой на тонкой шее, почти ни на что не реагировавший, начинал сильнее мотать головой, пускать слюну и издавать воркующие звуки, когда входил Силантий.

Скоро работа Силаития чувствительно изменила к лучшему хозяйственное положение детдома. Ферапонт Иванович, уже давно подумывал о том, как бы устроить его здесь на постоянную службу и, наконец, решил переговорить с фельдшером.

— Папа пустяков! — сказал фельдшер, — у нас штатная должность есть сторожа. Ведь как же, знаете: две коровы, лошадь, хозяйство, а место глухое, от села две версты, так что нам без сторожа никак невозможно.

В тот же день написали бумажку и решили послать Силантия в город, гем более, что у Ферапонта Ивановича была в том неотложная нужда по целому ряду других дел.

Ферапонт Иванович на первых порах с большой охотой отдался исследованию психического мира своих воспитанников и

пациентов. Окончив тщательный телесный осмотр, с обращением особенного внимания на рефлексы, он принялся за разбивку их на группы по степени олигофрении. Он долго работал с тестами Бине-Берта, исследовал по Россолимо и, наконец, пришел к самым благоприятным выводам: большинство из них было дебиликами или стояли где-то на переходной грани между дебильностью и имбецильностью. Затем шли имбецилы, а идиотов было всего лишь несколько человек.

Стоило поработать, и работа обещала результаты.

Назначив тем, кому нужно было, противосифилитическое лечение, которым занялся фельдшер, он все свое внимание и время уделял группе дебиликов, сделавшись их педагогом и нянькой.

Ферапонт Иванович возлагал большие надежды на так называемую сенсорную («чувственную») культуру. Он стремился развить у слабоумных тонкое различение слуховых, зрительных и тактильных впечатлений и выработать у них быстрые и целесообразные реакции на всевозможные раздражители.

Он делал световые штандарты, вывешивал их на виду и заставлял своих слабоумных наносить на бумагу в точности те же краски. Огромное место отведено было музыке и ритмическим движениям. За всем этим Ферапонт Иванович, подобно многим другим, признавал огромное суггестивное и организующее значение. Но больше всего Ферапонт Иванович обращал внимание на культуру тактильного чувства.

С этой целью воспитанники должны были осязать с закрытыми глазами пространственные фигуры: кубы, конусы, шары, пирамиды и т. п. и потом узнавать их таким же порядком с закрытыми глазами посредством одного осязания. Прикасаясь еле ощутимо к расположенным под ряд предметам разной теплопроводности и температуры, слабоумные должны были с закрытыми глазами расположить их по степени их холодности или теплоты Это делалось с целью повысить температурную чувствительность. Далее, притрагиваясь также лишь слегка подушечками пальцев к кусочкам бумаги, картона, коленкора, бархата (бархат Ферапонт Иванович выпрашивал у супруги), слабоумные учились различать все эти материалы по осязанию.

Ферапонт Иванович считал, что *осязательный* опыт является главным созидателем всей сложной структуры человеческой психики. Его возмущало, что наш язык так скуден в определении бесчисленных в своем разнообразии осязательных впечатлений. Он осмеливался утверждать, что слепые, ceteris parabus[1] должны отличаться более тонкой и чувствительной психической организацией, чем зрячие.

Правда, когда коллеги его уж очень начинали посмеиваться над ним, уверяя, что он страдает манией оригинальности и открытий, он делал ловкий диалектический ход, расширяя понятие ***«осязание».***

— Зрение—это способность осязать световые колебания, слух — способность осязать звуковые колебания, а обоняние — способность осязать удары мельчайших частиц летучего вещества, — говорил он. Но, однако, это утверждение было лишь диалектическим ходом, чтобы избавиться от насмешек, по существу же Ферапонт Иванович являлся крайним приверженцем «тактилизма» и договаривался до того, что начинал уверять, будто можно при соответствующей культуре внимания, обращенного к внутренним органам, достигнуть того, что будешь ясно, например, чувствовать свою печень но всем ее поверхностям или ощущать «нервные токи» всех участков тела...

Ясно, что для осуществления своих широких замыслов в области воспитания и лечения слабоумных Ферапонт Иванович нуждался очень во многом, а тут не хватало того, другого, третьего.

Командировка Силантия в город во всех отношениях была необходима.

Силантий уехал в среду, вернулся в пятницу. Он привез дюжину карандашей, четыре дести бумаги и свое назначение на должность сторожа.

— Што-ись и это не хотели сперва давать, — докладывал он Ферапонту Ивановичу. — А на бумагу вашу сказали: чего он там выдумывает! У нас тут настоящим ребятишкам нет ничего, а он тут для дураков требует!

Ферапонт Иванович выругался и ушел в свой кабинет. С этого дня рвение его резко упало. Он решил, видимо, что для того, чтобы поддерживать status gvo ante[1], довольно будет изредка заходить в детский дом и проверять работу фельдшера и воспитательницы. Сотрудники его были сильно поражены и огорчены этим и объясняли все случившееся неблагоприятным ответом начальства.

Однако, только одна Ксаверия Карловна знала, что на самом деле это не так.

За долгие годы жизни с мужем она хорошо научилась определять по самым ничтожным признакам все необычайные состояния души Ферапонта Ивановича. Поэтому она и в этот раз знала, что неудача поездки Силантия — это только предлог для Ферапонта Ивановича для того, чтобы отойти от работы в детдоме, которая отвлекала его от чего-то такого, что заполняло всю душу его. Ксаверия Карловна ясно видела, что какая-то новая

идея волнует воображение Ферапонта Ивановича. Он стал задумываться, плохо стал есть: часто во время обеда вилка с куском мяса откладывалась на стол, и Ферапонт Иванович, рассеянно пощипывая кусок хлеба, устремлял взор свой куда-то в пространство, поверх головы Ксаверии Карловны.

Ксаверия Карловна не только не боялась таких состояний мужа, но даже покровительствовала им. Наука была единственной соперницей, к которой Ксаверия Карловна не ревновала своего мужа. И во время своих ученых занятий Ферапонт Иванович приобретал особые права и преимущества вплоть до того, что мог поворчать и даже покричать на супругу, чего не дозволялось в мирное время.

Еще там, в Екатеринбурге, когда они жили хорошо и у Ферапонта Ивановича был прекрасно обставленный кабинет, вошло в обычай, что на все время усиленной работы Ферапонт Иванович совсем переселялся в свой кабинет. Туда подавали ему завтрак и даже обед, а ночевал он на своем любимом кожаном диване.

Здесь можно, кстати, заметить, что Ферапонт Иванович считал почему-то раздельное существование с супругой необходимым для быстроты и напряженности научной работы.

Здесь, в детском доме, такой порядок существовал уже в течение месяца. Вскоре после приезда из города Ферапонт Иванович попросил достать ему одну из неоконченных работ, которой он не занимался со времени эвакуации, и теперь Ксаверия Карловна, просыпаясь в два или три часа ночи, видела узкую полоску света, проходившую сквозь двери, и слышала легкое шуршание карандаша. Повернувшись на другой бок, Ксаверия Карловна спокойно засыпала.

Однако, за последнее время и у нее появились причины для беспокойства. Ферапонт Иванович вел себя все более и более странно. Прежде он никогда не требовал, например, абсолютной своей неприкосновенности во время занятий, теперь же он возмущался даже тем, что Ксаверия Карловна приносила в кабинет чай или завтрак.

— Ну, оставь ты, пожалуйста! — жалобно и раздраженно говорил он, — что я ребенок, что ли?!.. Захочу есть, так приду и поем. Ведь ты же знаешь, что я не люблю, когда мне мешают.

— Но ведь ты так с голоду помрешь! Не напомнишь тебе, так ты и не догадаешься.

— Не беспокойся: не умру! Только оставь меня в покое и не входи ко мне тогда, когда тебя не зовут.

— Странно! — обиженно говорила Ксаверия Карловна и удалялась. Ферапонт Иванович вставал из-за стола и запирал

дверь на задвижку. Это обстоятельство причиняло большие мучения Ксаверии Карловне.

— Зачем он это делает? Ну, сказал бы, кажется, и довольно, итак не приду, — нет, запирается зачем-то!... Что это за тайны у него? — и искала способа выяснить все это.

Способ, самый простой к тому же, напрашивался сам собою: подсмотреть в замочную скважину. И вот Ксаверия Карловна в течение целой недели ежедневно по часу и больше простаивала возле двери кабинета, но потом перестала, потому что единственное подозрительное обстоятельство в поведении мужа заключалось в том, что он совершенно неподвижно лежал на кушетке и ни разу не подошел к письменному столу. Занавесы окон были опущены.

Вскоре Ксаверии Карловне удалось убедиться, что рукопись Фе-рапонта Ивановича за целый месяц ничуть не подвинулась, и страницы ее были покрыты пылью.

— Нужно его встряхнуть как-нибудь, может быть, все это просто тоска, — подумала она и решила развлечь Ферапонта Ивановича преферансом. Когда в первый раз она заявила ему, что пришли гости —фельдшер и воспитательница — что неудобно же так: надо занять гостей, Капустин, сильно поморщившись, выругался и стал одеваться.

Составили «пульку», — Ферапонт Иванович играл из рук плохо, и видно было, что только приличие заставляет гостей продолжать такую игру. Потом пили чай и ругали советскую власть, но и на это Ферапонт Иванович реагировал слабо.

Когда гости ушли, он сказал раздраженно:

— Не вздумай, матушка, еще вечеринки устраивать! — и, хлопнув дверью, Ферапонт Иванович скрылся в кабинете.

Скоро произошло совершенно необычайное событие, потрясшее все существо Ксаверии Карловны.

Однажды утром, она, нарушив запрет мужа, вошла в кабинет с чашкой кофе «по-варшавски» и тарелкой белых сухариков.

Он лежал на кушетке и даже не обернулся, когда она вошла.

Выйдя из кабинета, Ксаверия Карловна готова была разрыдаться. Печально принялась она за уборку комнаты. В работе она всегда находила успокоение. И сейчас мало-помалу она начала успокаиваться. Мысли ее унеслись е счастливое прошлое.

Вдруг звуки, донесшиеся из кабинета, привлекли ее внимание. Оттуда доносился мелкий ровный хруст, словно кто-нибудь быстро быстро грыз сухари.

— Господи! — Подумала она радостно. — Да неужели он кончил свою голодовку?! — Она послушала еще: да, грызет!..

только странно как-то, совсем не так, как обыкновенно...

Ксаверия Карловна заглянула в замочную скважину.

Возле небольшого круглого столика, стоявшего посреди кабинета, сидел, откинувшись в кресле, бледный Ферапонт Иванович и смотрел на тарелку с сухариками.

Только вглядевшись, Ксаверия Карловна увидела, что пять или шесть мышей сидели в тарелке и, не обращая никакого внимания на Ферапонта Ивановича, словно его тут вовсе не было, грызли его сухарики.

Мыши были так близко от него, что он легко мог достать их, слегка протянув руку. Они то соскакивали с тарелки и, нюхая воздух, покрапывали своими лапками по железу подноса, то снова взбирались в тарелку и принимались грызть.

А он сидел неподвижно, и слабая улыбка блуждала по лицу его.

Невольный крик вырвался у Ксаверии Карловны, мыши бросились в стороны, и с мягким стуком посыпались со стола.

Ферапонт Иванович вздрогнул, и гневное лицо его оборотилось в сторону двери.

4 Путь к проруби

Может быть, где-нибудь в подсознательной памяти Ксаверии Карловны остался библейский рассказ о том, как Давид боролся с меланхолией царя Саула игрою на арфе, а может быть, просто энергичная женщина в отчаянии ухватилась за первое, бывшее поблизости средство, чтобы вернуть супруга к сознанию действительности, но как бы там ни было, в один прекрасный день Ферапонт Иванович, вздрогнув весь, сорвался с своего дивана, на котором он лежал неподвижно, и с диким, как бы пустынным взором, стоя посреди комнаты, стал прислушиваться.

«Да — пианино, но откуда! Неужели у нею галлюцинации?.. Но, ведь, он принял все меры!»...

Ферапонт Иванович кинулся к двери, он распахнул ее...

В столовой стояло пианино, и Ксаверия Карловна уверенно и с воодушевлением играла что-то из Скрябина.

— Пианино! — крикнул Ферапонт Иванович. — Пианино! — повторил он, задыхаясь, — откуда оно здесь?!.. Ксаверия?!..

— Ах! — вскрикнула мадам Капустина, притворившись испуганной, и сжала виски. — Как ты меня испугал.

Но он ничуть, кажется, не был этим растроган.

— Я тебя спрашиваю, что это такое, откуда попало к нам пианино?

— Как — откуда? — удивилась Ксаверия, — из детдома.

— Из детдома?!..

— Ну, конечно.

— Да кто это посмел?!. Без меня, без моего ведома?!. — горячился Капустин.

— Я распорядилась, — стараясь быть спокойной, ответила Ксаверия Карловна. — А что же здесь такого скажи, пожалуйста, ну?! — стала она переходить в контратаку.

Но это не удалось ей. В этот раз она просто узнать не могла своего супруга, всегда боязливого и уступчивого.

— А то особенное, — грозным громким топотом говорил он, надвигаясь на нее, — что это неэтичный поступок! Ты понимаешь, неэтично!... Ты лучше бы все, что угодно сделала!.. Но это, это... Как?! — жена заведывающего детским домом забирает в свою квартиру пианино, принадлежащее детскому дому!.. Да ведь это чорт знает что такое!

— Ну, уж ты чересчур, — разозлилась Ксаверия. — Я говорила об этом с фельдшером, и он сказал, что оно все равно стоит зря, и что даже, наоборот, идиоты могут его испортить, а у нас оно сохранится.

Капустин презрительно захохотал:

— Фельдшер ей сказал! А почему ты к фельдшеру обратилась, а не ко мне?!..

— Потому что я знаю, что тебя нельзя беспокоить.

— Ах, вот что?! — издевался Капустин. — Не хотели меня беспокоить! А этот Скрябин, которого вы с таким увлечением исполняли, он меня не побеспокоил?! А может быть, все это делалось для меня даже?..

— Да! Для тебя, для тебя делалось! — воскликнула Ксаверия Карловна, чувствуя в то же время, что она напрасно сказала это.

Но было поздно.

— Что? Ты это сделала для меня?!. Объяснись, пожалуйста! — он даже отступил в изумлении.

Она молчала. Она быстро-быстро перебирала в уме всевозможные ухищрения. Как? Сказать правду, сказать ему, для чего она решила принести сюда пианино? — нет, ни в коем случае — будет хуже. Надо солгать, придумать, почему именно она сказала, что это для него.

— Я готовила тебе сюрприз, — сказала она, желая выиграть время.

— Что это еще за сюрприз? — поморщился он.

— Но, раз сюрприз, то ты понимаешь, что я не могу открыть тебе его, — сказала она и в ту же минуту испугалась, увидев, как лицо его исказилось яростью, и сказала первое, что пришло ей в

голову:

— Я хотела устроить елку...

— Елку?! Да что ты, с ума сошла, разве теперь Рождество?

Ксаверия Карловна стояла вся красная от неуклюжей лжи.

— Но, ты ведь знаешь... что тут другое важно... Просто, у меня остались старые, елочные украшения, и я решила устроить бедным идиотам праздник... Тут не елка, собственно, важна, а просто блеск этот, шум, бенгальские огни... Я именно для тебя хотела доставить интересный материал для наблюдений: как твои идиоты отнесутся к такому необыкновенному для них явлению...

Ферапонт Иванович пожал плечами и промычал что-то.

— Ну, а пианино тебе зачем понадобилось?!..

— А как же? А репетиция, спевки?!..

— Ну, уж уволь, пожалуйста! — поморщился Ферапонт Иванович, — спевайтесь, где угодно, только не здесь!..

Он круто повернулся и захлопнул за собой дверь кабинета.

Снова потянулись для Ксаверии Карловны скучные дни. Теперь уж она не решалась больше ни на какие героические меры, чтобы вырвать Ферапонта Ивановича из ею подозрительного уединения. Она злилась на себя за не удачную ложь, потому что теперь ей приходилось расплачиваться и устраивать праздник идиотам.

К устройству праздника были привлечены ею фельдшер, воспитательница, Силантий и даже несколько человек из слабоумных ребят.

Наконец, наступил канун праздника. И теперь уж неизбежно пришлось побеспокоить Ферапонта Ивановича. Для бала потребовались все три комнаты.

Ни с кем не разговаривая, мрачно и торжественно оставил свой кабинет. Слоняясь из комнаты в комнату, он не находил себе места: отовсюду изгоняла его безжалостная уборка.

— Слушай, пошел бы ты на улицу, следовало бы пройтись немного, — сказала, наконец, Ксаверия Карловна, которой надоело уж перегонять его из угла в угол. — А я тем временем закончу все.

Он, ни слова не сказав, направился в переднюю и стал одеваться.

Он так отвык от свежего воздуха, что почувствовал себя на улице, как человек, выздоровевший от тяжелой болезни, которому первый раз разрешили выйти во двор.

Под навесом он увидел Силантия, запрягавшего лошадь в «салат». Он подошел к нему.

— Здравствуй, Силантий, ты куда это собрался?..

— Здравствуйте, Ферапонт Иваныч! — весело приветствовал

его Силантий, бросив даже затягивать супонь. — А я уж думал, увидим ли мы вас, ладно ли што с вами?..

— Все ладно, Силантий, — невесело сказал Капустин.

— Ох, нет, Ферапонт Иваныч, гляжу я на вас, дак вы будто и с лица переменились.

— Ну, это так: на улицу долго не выходил... Ты куда это едешь? — спросил Капустин, переводя разговор.

— А в бор, Ферапонт Иваныч: Ксаверия Карловна посылают, елку им надо вырубить.

— А, — сказал Капустин. — А что — не поехать ли и мне с тобой, — спросил он в раздумьи.

— А почему же не поехать?.. Самое милое дело прокатиться. До бору-то версты две, не боле... Только в сапожках-то все-таки нельзя!.. — говорил Силантий, возжая лошадь.

— Ну, так я пойду сейчас одену пимы, а ты подъезжай к флигелю, — сказал Ферапонт Иванович.

— Слушаю! — по старой военной привычке ответил Силантий...

Когда переехали по льду речку, протекавшую саженях в ста от заимки, Ферапонт Иванович оглянулся: черневшие на белом пригорке, обнесенные со всех сторон высоким навесом, строения напомнили ему те остроги, которые ставили сибирские воеводы для защиты от кочевников.

Лошадь бежала быстро.

Он очень редко ездил на розвальнях, и теперь ему доставляло необыкновенную радость видеть, как, сливаясь в один белый поток, несся мимо снег, так непривычно близко от глаз.

«Как все-таки много истрачено жизни в кабинетном и лабораторном сидении над книгами, над рукописями, над микроскопом, а как просто можно жить и хорошо, если не знать всего этого!.. Какими напряженными могут быть простые физиологические радости!.. Вот вдыхать так этот воздух, глядеть на этот снег, хорошо»... — думалось ему, и грустное приятное чувство охватывало его.

Это чувство сделалось еще сильнее, когда они въехали в бор и лошадь остановилась. Ветер, просасываясь сквозь хвою, производил тот особенный тихий и в то же время могучий равномерный шум, от которого так отрадно и •спокойно делается на душе.

И Ферапонту Ивановичу чем-то ненужным показалась людская жизнь и работа, смешно было думать, что там, в доме, осталась женщина, близкая ему, и передвигает зачем-то столы и стулья в душной своей клетушке и чувствует себя обособленной и независимой от этого океана морозного воздуха, от этого шума.

— Ну, господи, благослови! — надо сосеночку облюбовывать, — сказал Силантий, вылезая из саней. За опояской у него был топор.

Ферапонт Иванович тоже вылез и стал присматриваться к соснам-молодняку.

— Вон эту, я думаю, — сказал он указывая.

— Эту? — спросил Силантий. — Нет, Ферапонт Иванович, эта не годится: иглы на ей мало, гола немножко.

— Верно, пожалуй, — согласился Капустин.

— А эвон ту я заприметил, — сказал Силантий и зашагал к намеченной сосне. Идти ему было очень трудно: деревяшка его с каждым шагом все больше и больше угрузала в снег.

— Ну, Ферапонт Иваныч, чисто замаялся я!.. — закричал он Капустину, останавливаясь и снимая шапку: от мокрых волос его шел пар. — Ни взад, ни вперед!

— Вытащить, что ли? — крикнул ему Капустин.

— Да нет, вылезти-то вылезу, а уж за сосной-то вам уж, видно, придется!.. — сказал Силантий и начал выбираться к саням. Вот ведь оказия! — сокрушался он, глядя на свою деревяшку, — ну, кто бы это придумать мог: — из-за деревянной ноги, чтобы такая история! А ведь не будь вас, так мне бы и довелось, пожалуй, без елочки приехать!.. Нате-ка топорик вам, Ферапонт Иваныч.

Капустин взял топор и, наметив сосну, зашагал к ней. В валенках идти было легко, они проваливались неглубоко. Он подошел к сосне. Она была чуть повыше ею. Он принялся рубить. Дело шло плохо. Если бы он смотрел со стороны, как рубит другой, то ему бы казалось, что тут и делать-то нечего — раз, два, и готово. Но сейчас, пока он срубил, он с непривычки сильно устал.

Когда он, отдышавшись немного, посмотрел на лежавшую в снегу сосну, она ему показалась очень плохой, с редкими ветвями.

Он огляделся крупом, ища новую. Но когда он подошел к новой, которая казалось такой пышной и заманчивой издали, то и эта ему не понравилась. Он испортил таким образом, три сосны и остановился на четвертой просто потому, что слишком устал искать.

Когда они выехали из бора, у нею сразу же испортилось настроение. Он долю молчал. Силантий молчал тоже и часто подхлестывал лошадь.

— Да... — сказал, наконец, Капустин, — смотришь на нее издали — хороша, а подойдешь поближе — голая, как скелет!..

— Это вроде, как с человеком, — отозвался Силантий. —

Сыздаля глядишь — все хорошо, а поближе подойдешь...

— Так вот, например, капитан твой, — заметил Ферапонт Иванович.

— Да-а... — сказал Силантий, и Ферапонту Ивановичу показалось, что голос Силантия дрогнул. — Но только тут, Ферапонт Иванович, я, можно сказать, возле самою человека денно и нощно был, как с дитем... А вот поди ж ты — предатель отечества оказался!.. А много, я чувствую, огорчений он вам сделал, — сказал Силантий, оборотившись к Ферапонту Ивановичу.

— Да, Силантий, немало... Больно мне, Силантий, за человека больно, .за Россию больно, — воскликнул он, вдруг растравляясь воспоминаниями о Яхонтове... — Ведь, ты что знаешь, Силантий! — продолжал он шепотом, подтянувшись в передок саней. — Разве ты знаешь, что если бы не капитан твой, не предательство его, то, может быть, и звери эти не царствовали бы над нами... Слышишь ты это?!.. — крикнул Ферапонт Иванович.

Силантий молчал. Он совсем теперь перестал править и, опустив вожжи, сидел лицом к Ферапонту Ивановичу.

И тот, словно на исповеди, начал рассказывать в простых словах о том, как встретился он с капитаном Яхонтовым в кафе «Зон», как отдал ему свою тетрадку с проектом организации ночной армии и о том, как клялся капитан Яхонтов, что только у его трупа могут отнять эту тетрадку...

Когда он кончил, Силантий не сказал ни слова. И только перед самым домом он сказал:

— Ну, Ферапонт Иванович, уважал я этого человека боле отца родного, пуще матери, а теперь, ну, попадись он мне в глухом месте, собственными бы руками задушил... все одно, как гадину!

Сани, ударившись о ворота, в ехали во двор.

— Сосенку везут! Сосенку везут! — закричали ребятишки, со всех сторон посыпавшись в сани.

С не меньшим нетерпением дожидалась сосенки Ксаверия Карловна. У нее все уже было готово для устройства елки. Сосна понравилась. Ферапонт Иванович втащил ее в комнату. Силантий распряг лошадь и втащил крестыш.

Елку поставили в столовой, и все, в том числе и Ферапонт Иванович, взялись за ее убранство.

Наконец, наступил вечер елки. Стали приводить партиями ребятишек. Самых безнадежных идиотов оставили в доме под наблюдением кухарки.

В прихожей, на двух поставленных рядом скамейках, лежали груды рваных пальтишек и шапок. Ксаверия Карловна немного

побаивалась, как бы не занесли вшей.

Дверь в столовую была еще закрыта. Ксаверия вместе с воспитательницей и фельдшером кончали зажигать последние свечи.

Дали сигнал — двери широко распахнулись, и толпа ребятишек ворвалась, втаскивая в комнату упиравшихся Капустина и Силантия.

— Стойте вы, стойте, макаки! — кричал Силантий, хватаясь за косяки. — Деревяшку, бесенята, отхватите!..

В столовой сделалось тесно. Огоньки свечек метались, словно пытались оторваться.

Взрослые принялись наводить порядок. Ребята выстроились двойным кругом и пошли вокруг елки. Запели «Елочку». Получилось плохо. Выручали взрослые. Потом пели «Как пошел-то наш козел» и ходили вокруг елки в другую сторону. Потом пошли сольные выступления. Некоторые из ребятишек прочитали стишки. А Силантий разошелся до того, что без костылей сплясал русского.

Когда вспыхнули, наконец, бенгальские огни, ребятишки пришли в восторг: одни визжали, хлопая в ладоши, другие прыгали и хохотали, указывая пальцами и подталкивая соседей. Третьи стояли с открытыми ртами, из которых обильно текла слюна.

И только несколько идиотов да закоренелых имбециликов, так и не ставших в круг, сидело в углу под подоконником, в полном безразличии ко всему, предаваясь безрадостной ипсации.

Свечи догорали. Кое-где начинали потрескивать и дымиться ветки. Пора было кончать. Ксаверия Карловна раздала ребятишкам кульки с пряниками.

Посовещавшись с ней, Ферапонт Иванович вышел на середину и объявил свободное обдирание елки. Это произвело не меньшее впечатление, чем в свое время «приказ № 1». Поняли даже самые слабоумные.

Словно щенки-сосунки, рвущие свою мать, когда не хватает для всех сосков, набросились слабоумные на елку. Елка зашаталась и, царапая стены, рухнула.

Кое-кто, испугавшись, отпрыгнул, но остальные продолжали бороться над трупом принцессы за редкостное убранство. Скоро послышался вой, громкие плевки и удары. Били друг друга по головам золотыми орехами.

Зрелище становилось нестерпимым.

Взрослые бросились разнимать. Елку оттащили в угол. Открыли дверь в кабинет Капустина и половину ребят перегнали туда. Мало-помалу наступило некоторое успокоение. Слышалось

громкое чвакание и треск орехов.

Ксаверия Карловна пригласила взрослых в спальню — играть в преферанс. Силантий остался наблюдать за порядком. Он сел на пол в углу, полуразвалясь, и, неторопливо вытащив кисет, стал закуривать. Человек пять-шесть дебиликов уселись вокруг него и смотрели, как Силантий закуривал.

— Ну, что, поганцы? — сказал он подмигивая, — сказку вам чо ли рассказать?..

— Сказку, сказку!..

— Ну, ладно. Каку вам: «Искорко-попелышко» али «Клюшку-попушок?» — спросил Силантий.

Голоса разделились.

— Ну, ладно. Сначала расскажу вам про «Искорку-попелышку». — Силантий, покуривая, стал рассказывать.

Кончив одну сказку, он при том же внимании своих немногочисленных слушателей принялся рассказывать другую.

В кабинете, где была часть ребятишек, было довольно тихо.

Вдруг из спальни вышла встревоженная Ксаверия Карловна.

— Силантий!

— Ась?

— Это ты тут надымил?

— Виноват, Ксаверия Карловна, — ответил Силантий и, подобрав костыли, поднялся с полу.

Густой дым застилал всю комнату.

— Ну, нет, Ксаверия Карловна, — испуганно сказал Силангий, потянув воздух, — тут неладно чо-то, Ксаверия Карловна!

Оба они бросились в кабинет. Здесь дым был еще гуще, отсюда-то он и расползался по всей столовой.

Вдоль стен и кучками посреди пола сидели ребятишки, и у каждого из них дымилась во рту полуфунтовая цыгарка. Пахло жженой бумагой и сосновыми иглами.

— Что вы это делаете?!.. — крикнула Ксаверия Карловна. Все принялись бросать цыгарки и затаптывать.

Ксаверия Карловна подняла одну из дымившихся цыгарок, поднесла ее к свету и отчаянно вскрикнула:

— Где вы это взяли?!..

Потом, не слушая их, она подобрала еще несколько цыгарок, развернула их и бросилась с ними в спальню.

— Господи!. Ферри, Ферри, что они наделали! Ты посмотри, посмотри только! — кричала она, развертывая полуфунтовые цыгарки перед глазами мужа.

Он взял одну из бумажек, вгляделся, побледнел и выбежал из комнаты.

Он узнал одну из страниц той самой работы, которую он начал еще в Екатеринбурге и о которой еще недавно говорил жене, что в ней смысл и оправдание всей его жизни.

Из коридора доносился сильный шум и крики — это Силантий выпроваживал ребятишек.

Немного спустя, Ферапонт Иванович вернулся к своим партнерам.

— Извините, господа, — сказал он спокойно, — но я не могу сейчас продолжать игры. Он поклонился и ушел.

Расстроенные гости тоже разошлись.

Ксаверия Карловна побежала в кабинет. Капустин лежал на кушетке ничком, закрыв лицо руками.

Она тронула его за плечо.

— Уйди! — крикнул он не поднимая головы. Она ушла...

Уснула она только под утро. Перед самым рассветом Ксаверия

Карловна слышала чьи-то шаги по комнатам, потом возню возле вешалки, а потом как будто хлопнула уличная дверь, и заскрипел снег под окнами... Она не могла проснуться, хотя ей мерещилось, что по дому ходят воры.

Утром она вышла в переднюю и увидела, что шубы и шапки Фе-рапонта Ивановича на вешалке не было.

Она побежала к мужу. Прежде чем войти, постучала. Никто не ответил. Она вошла. Кабинет был пуст. На столе, на самом видном месте, стоял кусок белого картона, прислоненный к лампе. На нем было написано:

«В смерти моей прошу никого не винить».

Ф. Капустин.

...От крыльца дома, заворачивая к калитке сада, шли полу занесенные снегом следы. Следы эти спускались дальше к реке и оканчивались у проруби.

Только теперь почувствовала Ксаверия Карловна, что дороже всего в мире был для нее Ферапонт Иванович, а теперь мир для нее опустел...

Силантий уехал в город донести властям.

На другой день приехало двое. Один — высокий, сутулый, в шубе с богатым воротником, в больших очках на тонком и остром носу. Он был, по-видимому, начальник. Другой — маленький и незначительный и таскал за ним портфель.

Они начали с тою, что осведомились о происшедшем, затем посовещались немного и вышли за ворота.

Дальше они целый час потратили, обходя заимку со всех сторон. В некоторых местах останавливались, нагибались, вглядывались в след. Кое-где младший втыкал в некоторых

местах прутики. Так спустились они на лед. И оттуда поднялись в сад — к большому дому, стараясь ступать в один след.

Они производили осмотр, постепенно суживая круги.

У калитки сада встретил их Силантий и показал на следы к реке.

Оба нагнулись, младший совсем, а старший слегка, и долго всматривались.

—Запорошило, — сказал младший.

— Однако, я думаю, не раньше, чем вчера, — сказал старший.

— Вчерась, вчерась, — подтвердил стоявший рядом Силантий. — Это его след.

Старший строго посмотрел на него.

— Проследить? — спросил помощник, сидя на корточках, подняв лицо к старшему.

— Давай, — сказал тот, вынув из кармана карандаш и блокнот.

Младший вытащил из большого портфеля складной метр.

— Валенок, — сказал он полувопросительно.

— Ну, конечно, — ответил начальник.

Помощник измерил расстояние от следа до следа:

— 67, — сказал он.

— «Мужчина небольшого роста», — записал старший в блокнот.

— Линия ходьбы прямая, — сказал младший, откладывая по снегу сантиметр и передвигаясь вдоль снегов.

— «Трезвый. Без ноши. Не старик. Во всяком случае, не толстый», — записал старший.

— Угол ноги 56.

— «Шел медленно. Человек умственного труда», — записывалось в блокноте.

Помощник распрямился, сложил метр и спрятал его в карман.

Они пошли по следам к реке.

— Да. Запорошило, — сказал начальник с сожалением.

— А, вот! — радостно воскликнул помощник, нагибаясь, когда они спускались с берега.

Старший нагнулся.

Действительно, в одном месте берега виднелся прекрасный глубоко вдавленный след. Его почти совершенно не замело, видимо, потому, что он был защищен от ветра большим старым тополем.

— Да, — сказал старший. — Вот что, — обратился он затем к Си-лантию, — клей столярный у тебя найдется?

— Как не найтись...

— Ну, так вот что: растопи в каком-нибудь ковшике или кастрюле и принеси сюда, пока он еще горячий. Понял?

— Так точно! — ответил Силантий и быстро заковылял из сада.

Младший вытащил клубок шпагата, перочинным ножом отрезал большой кусок и, сложив его во много раз, перерезал. Потом он осторожно стал на коленки возле следа и старательно, бережно, начал выкладывать дно его отрезками шпагата наподобие сетки.

Тем временем подошел Силантий. От ковша шел пар, клей в нем еще пузырился.

Помощник взял ковш в руки и осторожно вылил клей на дно следа. Немного погодя, он, потянув за концы веревочной сетки, вытащил отпечаток подошвы из отвердевшего клея. Он перевернул отпечаток нижней стороной вверх и, прихватив носовым платком, поднес старшему.

Тог несколько секунд рассматривал отпечаток, потом сказал, показывая пальцем:

— Вот здесь, со стороны большого пальца, была заплата из кожи, и задники подшиты кожей. Нужно будет...

— Так точно, — перебил его Силантий. — И заплата там была, и задники подшиты, я сам и починял их Ферапонту Иванычу.

На этот раз старший взглянул на Силантия вовсе не строго.

— Вы видите? — обратился он к помощнику, приподняв левую бровь. — Ну, а теперь вот что, пойдем-ка к проруби.

Они спустились на лед.

На льду следы были чуть заметны.

— Вот здесь он остановился, — сказал начальник, когда они подошли к самой проруби.

Действительно, у самого края видны были два следа, не один впереди другого, а рядом.

— Ведь он в шубе был? — спросил помощник Силантия.

— Так точно: в шубе, в шапке и в пимах.

— Н-да... Ведь в шубе утонуть затруднительно, пока она не намокнет, — сказал в раздумьи помощник, вопросительно глядя на старшего.

Но Силантий, быстро разрешил их сомнения.

— Какой там затруднительно! — сказал он с оттенком презрения. — Только под лед подпихнуться, а там уж затянет.

Оба ничего ему не сказали.

— Ну, ладно, пойти надо поспрашивать для приличия, — сказал старший и они пошли к дому.

Допрос прошел быстро и не дал ничего существенного...

— Да, к прекращению, — сказал начальник, отвечая на вопрос младшего, когда они усаживались в кошевку. — Дело здесь ясное...

5 Дело, в котором увязнет любая репутация

Поддавшись ли, наконец, влиянию Елены, или просто сознавая, что все потеряно для него там, в белом лагере, Яхонтов стал спокойнее и как будто даже благожелательно относиться к окружающему. Об этом можно было заключить даже из того, что он быстро выдвинулся, как прекрасный штабной работник. Сейчас он заканчивал свою работу, которую предполагалось издать. Работа называлась «Основные моменты в действиях колчаковских армий с августа по октябрь 1920 года».

Отношения между ним и Еленой тоже сделались более ровными. Оба они избегали теперь говорить на политические темы. Елена понимала великолепно, что сейчас именно, в момент идеологической ломки нужно особенно бережно относиться к этому гордому человеку.

Она никогда не считала, что Яхонтов слишком любит ее, но со свойственной женщинам интуицией угадывала в нем человека с привязчивой и нежною душой, а потому старалась по возможности устранить в своем поведении все резкие и нетерпимые для него мелочи, чтобы крепче сделать свое влияние в основном. Она, например, совершенно бросила курить, отвыкла от некоторых словечек и жестов и видела, как это все радует его. Одного только она не могла для него сделать — это, чтобы встречавшиеся с ней на улицах товарищи-коммунисты не называли ее на ты. В такие минуты ей делалось очень смешно, когда Яхонтов молча и быстро отходил в сторону, оставляя ее с собеседником и, повернувшись спиной к ним, нервно курил.

После этого они обыкновенно долго шли молча.

Однажды он сказал ей после такой встречи:

— Знаешь, все-таки противная это у вас манера: любой тип подойдет к тебе и сразу: — «ты».

— Глупости ты говоришь, — возражала Елена, — вовсе не любой тип, а товарищ, такой же, как я, член партии.

— Ну, все равно... по-моему, это что-то... сектантское. Не хватает, чтобы вы еще целовались при встречах и называли друг друга «брат», — раздраженно говорил Яхонтов.

— Ну, и дурак! — разозлилась Елена. — Знаешь, меня просто удивляет, как ты — человек, который, кажется, помешан на всем русском — русский народ, русская армия, русский язык —

говоришь такие вещи! Неужели ты не знаешь, что это ваше «Вы» с большой буквы — это совсем не русское, а также украденное у иностранцев, как корсеты и кринолины?! Они там и отца и бога называют на вы, а наших крестьян возьми, т. е. тот именно самый народ, который вы так любите, разве у них так? Нет, они, когда в старое время к «царю-батюшке» обращались, то говорили «ты» и никакого другого обращения не знали, да и русский язык его не знал, пока вы все не испортили... Да, ты возьми, пожалуйста, настоящею мужика, разве он тебе скажет «вы»? Да никогда! А вот тот, который пообтерся немного в городе, деклассировался, гот это знает. Но как ему, несчастному, туго приходится. Ты его спросишь» например: — «Вам сколько лег?», а он тебе: — «Да нам уж шестой десяток».

Яхонтов рассмеялся.

— Да, это ты верно подметила... Допустим, что ты права, но, чем же мне все-таки символизировать, оттенить, так сказать, что я с тобой в особых отношениях, ну, хотя бы то, что я твой муж, если это интимное обращение так истаскано.

— А зачем тебе символизировать? — спросила Елена. — Ведь, кажется, если кто-нибудь называет меня на ты, то этим не покушается на твои супружеские права.

— Ну, как ты грубо говоришь, — огорчился Яхонтов.

В общем такие столкновения и споры были очень редки. То, что Елене казалось мелочью, пустяками, и в чем она охотно уступала ему, то, «наоборот», для Яхонтова было очень важно, и ему казалось, что Елена начинала перерождаться под его влиянием. Привязанность его к Елене становилась спокойной и глубокой, как к жене. Склонный в глубине души к романтике, вспоминая обстоятельства их знакомства, он считал, что сама судьба послала ему Елену. Он уж нисколько не сомневался теперь в том, что она никогда не была любовницей Силантия.

Если бы Яхонтов мог исследовать свои подсознательные глубины, он бы с большим удивлением увидел, что там живет глубокая неприязнь к Силантию. Однако, из поверхностных, чисто нравственных побуждений он вполне искренне мучил себя и Елену о своем бывшем денщике и о том, как скверно он, Яхонтов, поступил, когда оттолкнул калеку — своего верного и преданного слугу.

Кончались разговоры о Силантии тем, что Яхонтов заявлял о необходимости разыскать Силантия. А Елену это сильно раздражало.

Был конец апреля. Пешеходы тонули в грязи. На одном только проспекте успело подсохнуть. Поэтому вечерами гуляло много народу. На мосту через Омку тоже было много, настолько

мною, что для тою, чтобы постоять в свою очередь, облокотившись на перила, поплевать в мутную, быстро текущую воду и посмотреть, как чинятся баржи, готовясь к навигации — надо было дожидаться пока это все надоест кому-нибудь из стоявших возле перил, и он освободит место.

Яхонтову дважды в день приходилось переходить мост: на службу и возвращаясь домой. И каждый раз он ожидал, что увидит здесь Силантия. Привыкший к логическим операциям, Яхонтов пришел к такому выводу, что раз этот мост соединяет две половины города и по нему происходит все движение, то рано или поздно любой человек, если только он в городе, должен пройти через мост. Надо было только увеличить вероятность встречи. Сделав такое заключение, Яхонтов начал выходить на службу на полчаса раньше и возвращаться на час, а иногда и на два позднее. Это время он проводил или на мосту, или на крайней лавочке бульвара возле самого моста. Елене он сказал, что на службе стало больше работы.

Однажды, часов в 7 вечера, Яхонтов, пройдя мост в сторону проспекта, свернул налево и пошел по деревянному тротуару, мимо дома, где когда-то помещалась фотография. Он подходил уже к саду, как вдруг услышал за собой характерное постукивание деревяшки и костылей. Сердце его заколотилось. Он сошел с тротуара к забору и стал ждать, вглядываясь.

Калека, в серой шинели и кожаной фуражке, приближался к нему. Вот он совсем близко: видна ею наклоненная вперед голова и вздернутые костылем плечи, лица не видно. Проходя мимо Яхонтова, он взглянул на него, это был не Силантий. И вдруг Яхонтов почувствовал, что глубокая радость и чувство освобождения охватили его. Не понимая этою и пристыженный этим, он пошел дальше.

После этой встречи он перестал разыскивать Силантия и рано стал приходить домой. Жене он сказал, что спешные работы кончились.

Однажды после службы, несколько запоздав, Елена вошла в комнату и бросила на стол целую груду маленьких кульков. По комнате распространился хороший запах мороза и оберточной бумаги.

— Уф! — сказала она, поправляя выбившиеся из-под вязаной шапочки волосы, — устала. Это, знаешь, нам паек додали. Сахару дали! — сказала она, радуясь, как ребенок.

Он встал с кровати, подошел и поцеловал ее.

Они уж давно не ели ничего сладкого.

После обеда она сказала:

— Знаешь, что я придумала? — сегодня я решила быть женой

совершенно в твоем вкусе и заняться стряпней.

— Не худо бы...

— Так слушай, — продолжала она. — Я решила сейчас сделать... тянучки!..

— С удовольствием тебе помогу.

— Ну, тогда начинаем, — сказала Елена, засучив рукава и надев фартук. — Достань-ка из шкафа молоко.

— Слушаю-с, — Яхонтов принес молоко.

— Сними со стола скатерть.

— Слушаю-с.

— Ну, вот. Теперь принеси столовую ложку, разожги примус.

— Да, я вижу, что ты, действительно, решила стать домашней хозяйкой, — смеялся Яхонтов, выполняя поручение.

Это был самый веселый вечер в их жизни. Они все время хохотали. Елена надела на своего мужа платок и фартук.

Тянучки вышли превосходные, только слишком тугие, так что с трудом их приходилось откусывать.

На примусе скипятили чай и долю пили, объедаясь тянучками.

— Кончено! Не могу больше! — вскричала Елена, отбрасывая надкушенную тянучку.

Она встала, подошла к мужу сзади и обняла ею за шею. Он взял ее руку и поцеловал.

Становилось темно.

— Зажечь огонь? — спросил Яхонтов, запрокидывая голову и глядя в лицо жены.

— М-м... Не знаю! — лукавым голосом сказала Елена, заглядывая ему и глаза. Волосы ее касались ею щеки, заставляя вздрагивать.

Он развел ее руки, быстро встал и, подойдя к двери, запер дверь на задвижку. Потом он опустил занавески на окнах.

Огня они решили не зажигать...

Елена проснулась от стыда и страха. Ей приснилось, что она совсем голая и много людей смотрят на нее. В просонках ей показалось, что чье-то горячее дыхание касается ее обнаженных ног. Она проснулась окончательно.

Она спала без рубашки. Одеяло лежало на полу. Ей показалось, что в комнате кто-то есть. Половицы тихо поскрипывали.

Она схватила мужа за плечо и вдруг ощутила ту особенную противную и вялую теплоту, которая так ужасает каждого, кто прикасается к телу только что умершего человека.

Елена вскочила, перебежала комнату, открыла выключатель и снова подбежала к постели.

Яхонтов был мертв. Он лежал с запрокинутой головой. Руки его застыли у горла. Кончик языка высовывался, и глаза были полуоткрыты. На белизне подушек его лицо казалось фиолетовым.

Елена, вся дрожа, кое как оделась, бросилась к двери и толкнулась в нее всем своим телом. Дверь не подавалась. Тогда, потеряв самообладание, она закричала.

Скоро в коридоре послышался стук открываемых дверей, топот и голоса.

Кто-то рванул из коридора дверь.

— Откройте! Откройте! — стала кричать Елена.

— Закрыто изнутри, — ответил ей кто-то.

Она посмотрела и увидела, что дверь, действительно, была закрыта изнутри. Она отодвинула задвижку и выбежала, заставив расступиться стоявших возле двери.

Кто-то схватил ее за плечи, она слышала вопросы, обращенные к ней, и повторяла только одно слово:

— Убили!.. Убили!..

Женщины окружили ее и куда-то повели успокаивая.

Несколько человек вошло в комнату Яхонтова. Через несколько минут пришел комендант общежития. Тогда все, кто остался у двери, вошли вслед за ним.

Комендант подошел к трупу и потрогал.

— Да, — сказал он, отходя к столу. Постояв немного в раздумьи, он быстро вышел и спустился в нижний этаж.

Скоро зазвенел телефон.

Минут через десять комендант вернулся. Он придвинул стул к столу, сел и, взглянув на часы, стал ждать.

Прошло больше часа. Народу в комнате оставалось немного. Один по одному все расходились, и почти каждый, выйдя из комнаты, передергивался, не то от холода (большинство прибежало полуодетыми), не то от пережитого волнения.

Наконец, в коридоре послышались шаги и постукивания трости с резиновым наконечником.

— Сюда, доктор! — послышался голос.

Кто-то постучал.

Задремавший было комендант вздрогнул и, в один прыжок очутившись возле двери, открыл.

Высокий сутуловатый мужчина в шубе с богатым воротником, в барашковой шапке, в больших очках на длинном и остром носу, распахнул дверь, пропуская вперед себя маленького толстого человека в шляпе и тоже в очках, но с золотой оправой. В руках у первого был большой портфель и подмышкой какой-то длинный сверток, из которого торчали металлические наконечники. У

второго в руке был небольшой коричневый чемоданчик.

Комендант почтительно с ними поздоровался. Он узнал обоих: высокий с портфелем был известный в городе, прославленный целым рядом удачных дел, инспектор уголовного розыска. Другой был не менее известный судебно-медицинский эксперт.

Доктор поставил на стол свой чемодан, а высокий бросил свой портфель и сверток. Потом некоторое время каждый протирал носовым платком свои запотевшие очки.

Потирая пухлые руки, доктор, сняв пальто, подошел к трупу и приступил к осмотру. Труп был голый.

— Могз, — безразличным голосом сказал доктор, взглянув на своего спутника.

Тот все еще стоял возле стола, слегка прислонившись, и осматривался вокруг.

На слова доктора он только молча кивнул головой и затем вполголоса быстро сказал что-то коменданту.

— Товарищи, — сказал комендант, — я должен попросить всех посторонних оставить комнату.

Все вышли.

В комнате остались трое: доктор, инспектор и комендант.

Пока доктор производил тщательный осмотр трупа, инспектор снял пальто и шапку и принялся осматривать комнату.

Он начал осмотр с двери, несколько раз открыл и закрыл ее, внимательно прислушиваясь. Потом осмотрел задвижку, щелкнул ею раза два и, захлопнув дверь, перешел к окнам, которых было четыре — по два на каждой стороне.

Однако, окна недолго занимали его. Он убедился, что все стекла целы, рамы двойные, и заклейка окон в полной неприкосновенности.

Когда он обошел всю комнату, внимательно осмотрел стены, пол, заглянул в шкаф, в гардероб, даже в печку, — только тогда подошел к кровати, где лежал труп. Комендант стоял у изголовья кровати и держал переносную электрическую лампу, светя доктору.

— Ну, что? — спросил инспектор доктора, поправляя левой рукой очки и вытирая платком капли пота, выступившие на кончике носа.

— Задушен, — сказал доктор. — Хрящи гортани сломаны...

— О-о!

— Да... Трупное окоченение не наступило еще. На тыле кисти и на плече следы зубов, впрочем...

— Простите, доктор, одну минуту, — перебил его инспектор. — Сейчас и я закончу.

С этими словами он вытащил из правого кармана пиджака стеариновый огарок и спички.

— Будьте добры, устроите нам полную темноту... Вот так, — сказал он, когда комендант повернул выключатели и в комнате стало темно.

Инспектор зажег свечку и принялся осматривать спинку кровати, передвигая свечу. Кровать была с пружинной сеткой, со спинкой из дутого железа.

— Есть! — сказал он, разгибаясь, и подошел к столу. Он порылся немного в портфеле и вытащил оттуда плоскую черную коробку. Затем подошел к кровати и попросил коменданта подержать свечу в том самом месте, где держал ее он.

Затем в его руках очутились стеклянная баночка с белым порошком и маленькая кисточка. Погрузив кисточку в порошок, он обсыпал затем одно место на спинке кровати, быстро извлек из коробки гибкую полупрозрачную пленку, приложил ее к этому месту спинки и снова спрятал пластинку, в футляр.

— Ну, вот, — сказал он приподнимаясь. — Теперь нам понадобится другая крайность. Откройте, пожалуйста.

Щелкнул выключатель — в комнате стало светло.

Снова он направился к столу и, достав из портфеля небольшой фотографический аппарат, а из свертка — треножник, установил аппарат и при вспышке магния сделал снимок комнаты. Потом он установил аппарат над кроватью, объективом вниз, и сфотографировал труп.

— Ну, теперь кончено, — сказал он, укладывая свои приборы. — Ах, нет, — спохватился он, — экая непростительная оплошность! — с этими словами он осмотрел тщательно стол, взял с него надкушенную тянучку и, бережно завернув в несколько слоев бумаги, положил в портфель.

— Ну, теперь покажите мне, — сказал он доктору, подойдя к кровати.

Оба они склонились над трупом.

— Вот видите, — сказал доктор. — Несомненно, что никакой борьбы не было, потому что жертва находилась, видимо, в глубоком сне.

— Да, — сказал инспектор, — и рука, которая душила, была, я полагаю, не дамская ручка!..

— Да. Еще бы! Ведь сломаны хрящи. И эти следы от пальцев, — сказал доктор.

— Следы от пальцев не всегда — отпечатки пальцев! — вдруг сказал инспектор, загадочно глядя на доктора. — Посмотрите-ка — я нашел это на кровати, — он держал перед глазами доктора большой, чрезвычайно грязный носовой платок.

Доктор вопросительно посмотрел на него,

— Благодаря этой находке, — сказал инспектор, — я, несмотря на то, что здесь даже кровоизлияния от давления пальцев, все-таки не буду искать здесь отпечатков пальцев.

— Но почему? — все еще не понимал доктор.

— Да потому, что убийца душил свою жертву через платок...

— Да почему вы так думаете? — забывшись, крикнул доктор.

— Во-первых, потому, что этот платок принадлежит убийце!..

— Позвольте! — возмутился доктор.

— Да, убийце, — упрямо повторил инспектор. — Разве вы не видите? — сказал он, бросая платок на ослепительно белую наволочку и отгибая одеяло так, чтобы виден был такой же белизны пододеяльник. Платок казался грязным пятном на фоне постельного белья.

— Ну?! Ведь от этого платка даже дурно пахнет! — торжествующе сказал инспектор. — Неужели это не дает никаких данных для заключений? А впрочем, мы спросим хозяйку. — Скажите, — обратился он к коменданту, — нельзя пригласить сюда эту... его жену? — кивнул он в сторону трупа.

— Пожалуйста, — сказал комендант, быстро вскочив. Ему уж давно было омерзительно слушать этот спор над трупом, и он рад был уйти.

— Ну, хорошо, — сказал доктор, — допустим, что этот платок принадлежит убийце. Но, может быть, он хотел воспользоваться им, как веревкой для удушения?

— Нет, тогда бы он был в виде жгута.

— Правда, — немного смутился врач, — но почему он пользовался платком, как подкладкой?.. Неужели?..

— Да, да, совершеннейшая правда, — не дал ему договорить инспектор, — во-первых, он мог бояться, что оставит отпечатки пальцев на шее убитого, во-вторых, он боялся, может быть, что голая шея выскользнет из голых пальцев и, в третьих, из брезгливости...

— Пожалуй, — сказал доктор.

— Да, и вот почему я не стану тратить время и материалы на то, чтобы искать отпечатки пальцев преступника на шее трупа: их там не будет. А вот отпечатки зубов — это другое дело, доктор. Покажите-ка, где?

Доктор показал ему.

— Так, Ну, с этого надо слепочек сделать, — сказал инспектор. — И, знаете, для меня несколько странно, почему при наличии этих отпечатков зубов вы все-таки считаете, что борьбы не было?

— Я полагаю, что их наличия недостаточно, — сказал доктор.

— Ведь его жена, лежавшая рядом с ним, хотя и у стены, все-таки, если бы происходила борьба, должна была бы проснуться. Затем — поза трупа и еще некоторые мелочи говорят мне, что убитый был застигнут в состоянии чрезвычайно глубокого сна. Я не исключаю даже возможности, что сон этот был вызван с помощью каких-либо препаратов. Во всяком случае, нападение было чрезвычайно быстрое, и задушил его, несомненно, мужчина... Впрочем, предстоящее вскрытие трупа многое нам разъяснит...

— Так, — сказал инспектор. — Однако, с этих отпечатков необходимо все-гаки слепочек сделать. А заодно и с его зубов, — показал он в сторону трупа. — Кто его знает, ведь и убитый мог отвечать своему убийце тем же, стало быть, если мы скоро найдем его, этого господина, и у него окажутся укусы...

— Ну, конечно, — сказал доктор.

Инспектор достал какую-то розовую пасту, наполнил ею до краев две никелированных формочки, изогнутых наподобие ряда зубов и, подойдя к трупу, открыл ему рот и вставил формочки так, что верхние и нижние зубы по самые десна плавились в пасту.

В это время в комнату вошла Елена, за ней — комендант.

Елена направлялась к столу, но в это время инспектор, снимавший отпечатки зубов, отодвинулся, и Елена увидела вдруг лицо мужа: синие губы были растянуты, во рту блестело что-то металлическое, зубов не было видно, а вместо них, выпирали какие-то розовые валики, оттопыривая нижнюю и вздернув верхнюю губу.

Черные, еле пробивавшиеся усики, были тоже сильно растянуты, от этого рот казался большим, и казалось, что кто-то нарочно, ради глумления, сделал все это.

Она отвернулась. Доктор подошел к ней

— Еще минуту, и мы кончим, — сказал он.

— Да-да, вот сделаю еще только слепок укуса, — отозвался инспектор, продолжая работу.

— С какого укуса? — спросила Елена.

— У него на левом плече и на руке след зубов..

Елена помолчала минуту и потом сказала тихо:

— Доктор, мне вас нужно на минуту.

— Пожалуйста, — так же тихо сказал врач.

Они вышли в коридор.

Когда они вернулись, щеки Елены горели, а врач с трудом сдерживал улыбку.

— Знаете, уважаемый коллега, — обратился он к инспектору, — не надо делать слепков... Не надо, — повторил он, глядя многозначительно на инспектора.

— А... хорошо, — сказал инспектор. — Тогда мне остается только продактилоскопировать труп.

С этими словами он принялся смазывать пальцы трупа чем-то черным, затем под каждый палец подводить кусочек картона и таким образом снял отпечатки с каждого.

— Ну, теперь все, — сказал он отдуваясь. — Теперь попишем немного, — сказал он, обращаясь к доктору.

Оба они уселись за стол. Инспектор вынул из портфеля бумагу, две ручки и герметически закрытую чернильницу, и они оба принялись писать. Потом, по их просьбе, комендант поставил свою фамилию под их протоколами.

После этого они перешли к допросу.

Комендант сообщил все, что он знал, как лицо официальное, относительно Яхонтова.

— Более подробные сведения могут сообщить нам в губчека, как о бывшем белом офицере, и на месте его службы, — закончил комендант.

Перед тем, как допрашивать Елену, инспектор отошел с комендантом в сторону и долго говорил с ним.

— Ах, вот как? — сказал под конец разговора инспектор. — Помогала в девятнадцатом году? Так... Спасибо за информацию. Однако, здесь мы и без того ограничимся только формальностью. Работа-то мужская, — показал он глазами на труп... Вообще, теоретически говоря, здесь мог бы идти вопрос только о соучастии... Но... — он сделал неопределенный жест и отошел к столу.

После официальных допросов об имени, звании, возрасте, профессии, партийности и т. п., он задал ей всего лишь несколько вопросов.

— Вы — жена убитого?

— Да.

— Скажите, вы не слыхали ни борьбы, ни шума, ни сотрясения кровати?

— Нет, ничего.

— Вы спали с краю кровати или у стены?

— У стены.

— Скажите, проснувшись, вам не показалось, что в комнате кто-нибудь есть?

— Да, я, просыпаясь, почувствовала, как чье-то дыхание коснулось моих ног. Но, я не уверена... Вообще мне казалось, что в комнате кто-то есть.

— Вы не помните, чтобы кто-нибудь выбежал вместе с вами из комнаты?

— Нет.

— Дверь в коридор была, конечно, открыта?

— Нет. Была закрыта изнутри на задвижку. Я это помню хорошо, — сказала Елена.

Инспектор взглянул на доктора, во взгляде этом мелькнула растерянность.

— Вы это твердо помните? — переспросил он

— Да. Потому что, когда я стала стучать в дверь, не заметив, что она закрыта с моей стороны, мне кто-то из коридора крикнул, что она закрыта из комнаты, я отодвинула задвижку и выбежала.,

— Так... Вы слышали? — вполголоса спросил инспектор, нагнувшись к доктору

Тот кивнул головой.

— Хорошо, — сказал инспектор. — Теперь я должен буду обратиться к вам с просьбой припомнить, не было ли у вашего мужа врагов... не было ли каких-нибудь неприятных встреч, столкновений?..

Елена молчала.

— Должен вас предупредить, что полная откровенность в этом деле совершенно необходима, — сказал инспектор. — Не бойтесь, в наши дни в таких делах судебных ошибок не бывает. Опрометчивости здесь не бывает. Поэтому вы можете смело сообщить нам даже малейшее ваше подозрение, не боясь повредить кому-либо.

Тогда Елена рассказала про встречу Яхонтова с Силантием на мосту.

Наконец, ей был предъявлен платок. Она сказала, что это — чужой. После этого ее отпустили. Она ушла.

— Ну, теперь я имею несколько вопросов к тем, кто явился в числе первых к месту преступления, — сказал инспектор, обращаясь к коменданту.

— Хорошо, — сказал тот и вышел.

Было допрошено еще два или три человека из жильцов. Интересного они ничего не сообщили. Все они проснулись от женского отчаянного крика и, выбежав в коридор, поняли, что крики идут из комнаты Яхонтова. Кто-то стучал в дверь изнутри. Они пробовали открыть снаружи, но это не удалось, тогда один из них крикнул: откройте! заперто изнутри! Дверь открылась, и растрепанная женщина выбежала.

Спрошенные о том, как жили между собой Яхонтов и Елена, все показали, что это была очень дружная чета.

— Так, скажите, вы все время после этого оставались тут?

— Да.

— И в то время, как открылась дверь, и эта гражданка выбежала, и потом никто из комнаты, кроме нее, не выходил?

— Нет, — показал каждый из допрашиваемых.

— Ну, кажется все, — сказал инспектор, вставая, когда покончено было с допросом и протоколами. — Труп придется доставить к вам в секционную? — спросил он доктора.

— Да.

— Тогда придется опечатать комнату, — сказал инспектор коменданту.

Это было сделано...

На улице, усаживаясь на извозчика и застегивая полость саней, агент сказал:

— Вы видите, какая чертовщина, — главное, дверь-то была закрыта изнутри... Как мог проникнуть в таком случае преступник? Я, право, не понимаю... Во всяком случае, считать ее совершенно свободной от подозрения... о, нет! Пусть, как хотят!.. Конечно, особенно тревожить мы ее не будем... Относительно же денщика, про которого она рассказывала, так черт его знает! На костылях, с деревянной ногой и без сообщничества, — что-то слишком странно... Вообще, знаете, мы с вами ни разу еще не работали вместе в подобном деле: чертовски темное и гнусное дело!..

— Ну, — сказал доктор, — ваша репутация служит нам полной гарантией...

— Ну-ну... — сказал инспектор. — Боюсь я, что в таком деле увязнет любая репутация!,.

Часть третья

1 Клубок

Печальна была жизнь Ксаверии Карловны и Силантия после того, как лишились они Ферапонта Ивановича. Не радовали их нисколько дружные удары весны, паническое бегство сугробов и бурные совещания первых грачей.

Не радовало даже и то, что Ксаверия Карловна могла совершенно не думать о завтрашнем дне, так как губнаробраз дал ей место второй воспитательницы детдома. Временами ей тяжело было смотреть на своих слабоумных воспитанников. Ведь, все-таки, это они, уничтожившие рукопись Ферапонта Ивановича, были бессознательными виновниками его смерти. А она-то сама?!.. Разве в конце концов не ее нелепая выдумка привела его к проруби?!..

Ксаверия Карловна стала бояться и избегать реки. Когда в половодье Силантий стал звать ее посмотреть на разлив, она не пошла. Ей ясно представлялось, как где-нибудь на дне, зацепившись за какую-нибудь корягу, засосанный в песок, раздувшийся, зеленоватый, лежит труп ее мужа. А она будет смотреть!..

Бывало, Силантий уходил с некоторыми из ребятишек ловить раков; он налавливал их по многу; в мокром черном мешке они долго таинственно перешептывались между собою, пока не разжигался в саду костер и не вываливали их в большой котел, поставленный на кирпичи. Она отказывалась их есть. Предрассудки детства проснулись в ней. Она вспоминала слова своей няньки о том. что раки — поганая пища, потому что они едят утопленников.

Силантий сокрушался.

— Для вас, Ксаверия Карловна, старались. Маяты-то сколь мне было с деревяшкой! А вы, вот, не кушаете, — говорил он...

Однажды — дело было уже в начале мая — Силантий вбежал в кухню, где стряпала Ксаверия Карловна. На нем лица не было.

Она взглянула на него и едва нашла в себе силы поставить сковородник в угол. Она села на лавку тут же в кути.

— Матушка, Ксаверия Карловна, нашли, ведь, его! — сказал Силантий.

— Кого — его? — бледная спросила Ксаверия Карловна.

— Да Ферапонта Ивановича... Сичас мужик из Сосновки проезжал... На мельнице, говорит, тело к плотине вынесло. Это версты две пониже будет...

Ксаверия Карловна не слушала его. Она вскочила, схватила с гвоздика полушалок и стала просить Силантия сейчас же ехать.

Силантий сначала пошел было запрягать, но потом одумался и стал отговаривать се. Он начал говорить ей, что неизвестно еще как следует, где теперь находится тело, может быть, его увезли в деревню или что... А лучше будет, если он один сначала съездит, разузнает все как следует, а потом и за ней приедет. Насилу-насилу уговорил он ее и уехал один.

Путь ему лежал высоким берегом реки. Другим берегом, хотя и короче была дорога, нельзя было проехать: его затопило саженей на двадцать. Ветлы и мелкий ивняк стояли по пояс в воде; они были еще голы, но стволы и ветви их казались набухшими, налитыми, и эта голизна была даже приятна глазу. Разный сор — палки, листья, камни, солома, оставшиеся еще от прошлогоднего разлива, — всплыл теперь снова и, располагаясь островками вокруг кустов и деревьев, покрывал поверхность воды, делая ее неподвижной. Солнце, отраженное в неподвижной поверхности, казалось таким же ярким, как в небе. Кое где вода, отмежевавшееся от реки, начинала уже зацветать. Это была пора стихающего половодья.

Силантию весело было ехать. Он радовался солнцу и половодью, посматривал по сторонам и совсем позабыл, зачем и куда он едет. Временами телега въезжала в длинную, глубокую лыву[3]. Вода заливалась в самые ступицы и, приятно журча, сбегала обратно. Силантий подбирал тогда на телегу свою здоровую ногу, не заботясь о деревяшке.

Подъезжая к плотине, Силантий издали еще заметил на ней несколько человек. Они стояли недалеко от воды. Двое среди них были в форме милиционеров.

Веселое настроение у Силантия сразу прошло. Он вспомнил вдруг, зачем он сюда приехал. Его подмывало спрыгнуть, побежать скорее, чтобы посмотреть утопленника, но вместо того, чтобы подогнать лошадь, он натянул вожжи и поехал шагом.

Вот, наконец, он стал различать мертвое тело, лежавшее на подстилке из свежей соломы, ярко блестевшей на солнце.

В это время один из милиционеров поднялся по откосу плотины на дорогу и пошел навстречу Силантию. Когда он был близко, Силантий остановил лошадь.

Милиционер подошел к телеге.

— Кто такой будешь? — спросил он и, прищурившись, посмотрел на деревяшку Силантия.

— А я не здешний... — проговорил Силантий, испуганно улыбаясь. — Я из колонии, — он показал рукой.

— Ага! — сказал милиционер. — А фамилия как?

— Силантий Пшеницин... а по отцу...

Милиционер не дослушал его.

— Фадеев! — крикнул он, поворачиваясь в сторону реки и махая кому-то.

Через минуту на плотину вышел второй милиционер и подошел к телеге.

— А ну? — сказал он, глядя на товарища.

— Что ну?!. — сказал первый. — Тот самый, — он шепнул что-то на ухо Фадееву.

— Ага, — сказал тот.

— Так, вот, ты оставайся, а я с ним поеду.

— Ну, так что, — согласился Фадеев. — Езжайте.

Первый милиционер, ни слова больше не говоря, сел на телегу.

— Заворачивай!--скомандовал он Силантию.

— Куды тебе заворачивать? — огрызнулся было оторопевший Силантий.

— А еще будешь растабаривать! — злобно искривив губы, крикнул милиционер и сам дернул за левую вожжу.

— Но-но! — закричал тогда на лошадь Силантий и стал заворачивать.

Он молча доехал до свертка в детскую колонию, но, когда стал свертывать, милиционер опять закричал на него:

— Куда воротишь?!. Направо вороти!..

Силантий от перепугу даже лошадь остановил.

— Как так направо?!. Она вон где, колония-то! — с отчаянием и испугом вскричал он, указывая пальцем.

— А нам в город надо, а не в колонию! — упрямо сказал милиционер.

— Господи милостивой! — взмолился Силантий. — да, ведь, коня-то, поди, хватятся? Ведь казенная лошадь-то!..

— Мы и сами казенные, никуда твой конь не девается, — возразил милиционер. — Вороти в город!

Силантий еще что-то пробовал говорить, но тот закричал на него:

— Раз ты арестованный, какое ты имеешь право разговаривать?!.. Сказано — в город, значит, не ломай дурака, а слушай!

Но Силантий уже и без того, как только услыхал слово арестованный, так сейчас же свернул направо и принялся даже нахлестывать лошаденку.

Долго они ехали молча. Наконец, Силантий осмелился спросить, за что его арестовали.

— Вот в угрозыск представлю, там тебе все объяснят, — ответил милиционер и отделывался этими словами каждый раз, когда Силантий приставал к нему с вопросами.

— Зря ты, братец, дурачком прикидываешься! — добавил только однажды его суровый конвоир...

Часам к трем дня Силантия доставили в угрозыск.

Занятия кончались. Допрос Силантия отложили на завтра, а пока что его посадили в камеру.

В камере, кроме Силантия, было еще трое. Эти трое время от времени начинали разговаривать между собой, но так, что Силантий понимал с пятого на десятое.

— Не по-людски разговаривают: должно быть не русские, — решил он.

С ним они почти не говорили. Один только раз курчавый, похожий на цыгана, парень обратился к Силантию с непонятным вопросом:

— По-свойски ботаешь?[4] — спросил он его небрежно, словно не к нему обращаясь.

— Чего это? — спросил Силантий, лежавший уже на нарах.

— Феню[5], говорю, знаешь? — переспросил озлобленно парень.

— Федоська, говоришь? — стал припоминать Силантий. — А чьих она будет?

Арестанты расхохотались.

— Бетушный![6] — презрительно и удовлетворенно выругавшись, сказал похожий на цыгана.

После этого они «по-людски» стали расспрашивать Силантия, кто он такой, откуда и за что попал сюда.

Силантий рассказал им.

Выслушав его простой рассказ, арестанты перестали им заниматься и использовали остаток дня на ловлю вшей. И опять Силантия удивило то, что вошь они называли «крестьянином». И, когда кто-нибудь раздавливал с особенным треском насекомое, то остальные хохотали во все горло и называли убившего вошь «мокрушником»[7].

Скоро кто-то из коридора зажег над дверью лампу, защищенную со стороны камеры проволочной сеткой и стеклом.

Силантий незаметно для себя уснул. Проснулся он от того, что продрог весь. Камера была сырая и холодная. Было очень душно и накурено. Который-то из арестантов сидел на парах на своей подстилке рядом с Силантием и, надрываясь и задыхаясь, кашлял. Си-лантий приподнялся, скрутил цыгарку и закурил. .

— А ну, ты, чувырло братское, дай понырдать[8], — сказал арестант и протянул к Силантию руку.

Силантий не понимая посмотрел на него.

— А ну, жлоб... — нестерпимо выругался арестант и выхватил у Силантия цыгарку.

Силантий схватился за костыль.

— Я, брат, тебя как тресну по башке, так ты своих не спознаешь! Отдай цыгарку! — крикнул он.

Арестант курил посмеиваясь.

От шума проснулись его товарищи. Две лохматых головы приподнялись над нарами.

— Чего тут? — спросил один.

— Да, вот тут кобель бузу вздумал тереть[9], — ответил обидчик.

— Взять его в стас[10], — сплюнув посоветовал один.

— Банки ему поставить[11], — сказал другой.

Силантию стало не по себе.

— Порешат еще, ну их к чемеру! — подумал он и пожалел, что связался.

Он поворчал еще немного для виду и полез в карман за кисетом. Но в это время арестант, отнявший у него цыгарку, протянул ее ему:

— На, братуха, — миролюбиво сказал он, хлопнув Силантия по плечу. — Черт с тобой, калеку грех обижать.

Силантий растрогался.

— Ну вот, — сказал он, — давно бы так! А я тебе — с милой душой. Али ты думаешь — махорки мне жаль?!.. Да на! — он бросил кисет на колени соседу. Тот стал закуривать.

Покуривши они стали снова укладываться.

— Борода, — сказал Силантию арестант, только что его обидевший. — Тебе, брат, худо так-то лежать — без покрышки, на хоть эту рванину. — С этими словами он бросил Силантию какое-то стеженое тряпье.

— Вот спасибо, вот спасибо! — забормотал растроганный Силантий.

— Ведь вот, — думал он с раскаянием и умилением, укладываясь спать, — где только хорошего человека не встретишь, господи милостивой!

Он полежал еще немного, покурил и, бросив окурок, который уже обжигал ему пальцы, перекрестился и повернулся на правый бок.

Арестанты уже давно храпели...

Страшный сон приснился Силантию. Снилось ему будто он мальчишкой идет с товарищами купаться, пришли к речке.

Нагретый солнцем песок обжигает пятки. Вот Силантий разделся вперед всех, разбежался и бросился вниз головой в воду. Шел, шел под водой, наконец, голова почувствовала дно, но дно это мягкое, сейчас же расступилось, и Силантий увяз по самые плечи... И стал он задыхаться... нечем дохнуть... кричать хочет, — только грязь в рот набивается... И стал он тогда махать над водой ногами: может быть товарищи увидят — спасут его. Машет ногами и слышит: хохочут товарищи во всю глотку. А тут нестерпимые муки: грудь всю разрывает и кожа на животе от крика разрываться стала. И почувствовал Силантий, что сейчас — смерть, почувствовал и проснулся.

Сначала не соображал ничего, а только дышал. А потом уж проступила нестерпимая боль в животе, рванулся Силантий, приподнялся, крикнул, но в это время опять его повалили, набросили на голову какую-то тяжелую тряпку и вдавили в рот.

Но Силантий уж видел и понял, что с ним делали: один из арестантов закрывал ему голову и затыкал рот, другой прижал ему коленками раскинутые руки, а третий сидел на нем верхом, захватывал на животе кожу, сильно оттягивал ее, перекручивал, а потом со всего размаху ударял по оттянутой коже ребром ладони. Это Силантию за строптивый его характер ставили банки.

От невыносимой боли, которая еще становилась невыносимее от того, что нельзя было крикнуть, Силантий потерял сознание.

Когда он очнулся, утро уже забрезжилось. Силантий попробовал приподняться, но не мог из-за боли и застонал.

Один из арестантов подошел к нему и сказал: — Смотри, борода! если чуть чего — так еще темный киф[12] получишь! Это почище банок... Вас кобелей учить надо! — добавил он наставительно.

Силантий понял, что жаловаться нельзя. Поэтому, когда за ним пришли, чтобы повести наверх, к начальству, он, с трудом сдерживая стоны, поднялся и пошел сгорбившись.

Сначала его повели в регистрационное бюро, где заполнили на него карточку и сняли «словесный портрет». А отсюда передали в комнату дактилоскопии и сигналистической фотографии.

Здесь все удивляло Силантия. Сначала он сильно оробел. Но потом, когда увидел, что обращаются с ним хорошо, то насмелился даже спросить, что с ним здесь станут делать. Ему сказали, что оттиснут отпечатки с пальцев и снимут фотографическую карточку.

Последнее дело Силантию очень понравилось. Он снимался когда-то с товарищем, еще когда был холостой, но только в то время карточки выходили какие-то желтые. А нынче хорошо

снимают. Он побеспокоился только, бесплатно ли с него сделают «патрет». Ему сказали, что не возьмут с него ни копейки. Этим он остался совершенно доволен и спокойно отдался в руки фотографа.

Силантия усадили на какое-то особенное кресло. Он не припомнил что-то, чтобы у фотографа было такое: здесь вдоль сиденья, как раз посредине проходил невысокий гребешок.

Силантий полюбопытствовал, зачем это так, и фотограф объяснил, что это для того, чтобы человек не ерзал на стуле, не сбивался на сторону, а сидел прямо. Силантий попробовал сдвинуться на бок и действительно убедился, что сидеть так невозможно, потому что гребень впивался в тело.

— И до чего только не додумаются нонче! — вздохнул он, усаживаясь, как надлежало.

Наконец, все приготовления были закончены, фотограф подошел к Силантию и хотел повесить к нему на шею какую-то дощечку с крупно написанным номером.

— Ну, нет! Это, брат, шалишь! — возмутился Силантий и отвел руку фотографа, — это собачки в городу с номерками бегают, а нам это ни к чему... Эдак я и сыматься не стану, — заявил он.

Но тут его принялись уговаривать, стращать и в конце концов добились своего.

— Ну, ладно, пускай вроде, как старшина буду — с бляхой! — сказал он, печально усмехнувшись, и позволил надеть на себя номер.

Когда кончили снимать, он направился было к двери. Его остановили.

— Погоди, отпечатки еще с пальцев.

Силантий с безразличием повиновался. Он молча смотрел, как дактилоскопист брал каждый его палец, предварительно выпачканный в черной краске, прикладывал к карточке, прижимал и слегка прокатывал.

Когда все было кончено, Силантий встал, посмотрел на свои черные пальцы и сказал, покачав головой:

— Карточки сымать — это кажному приятное дело, а пальсы-то зря мне помарали — ни к чему это...

Несчастный Силантий! Если бы ему известно было то, что известно было этому безусому мальчишке, который «помарал» ему пальцы! Если бы он знал то, что могут быть в свете два близнеца, до того похожие друг на друга, что даже родная мать их не различает, что могут быть среди 1.700 миллионов людей земного шара несколько человек, у которых даже число волос на голове одинаково, но, что нет и не может быть на свете двух

пальцев, отпечатки которых совпали бы.

В конце концов Силантию было сейчас не до этого: его мытарства еще не кончились, — его влекли сейчас на допрос к начальнику секретно-активной части.

Допрашивали его не меньше часу. Он даже вспотел, потому что такое пришлось вспоминать, что ему и во сне-то уж ни разу не снилось. Спрашивал его начальник, как в колчаковскую армию он попал, когда его мобилизовали, в каких частях служил и почему взял его в денщики Яхонтов.

Дальше пошли вопросы насчет знакомства с Аннетой. Кто она ему приходилась, где и как познакомился он с ней и долго ли она жила с ним. Наконец, разговор перешел на Яхонтова: каков он был человек, не обращался ли он жестоко с солдатами или с ним — с Силантием. Не оскорбил ли чем-нибудь, не ударил ли когда его или что-нибудь в этом роде.

Силантий ответил на все вопросы так, как считал лучше. Он уже думал, что его отпустят сейчас, потому что начальник позевнул и, прикрыв рот рукой, откинулся в кресле.

— Уснет, пожалуй, — подумал про себя Силантий и улыбнулся.

Вдруг начальник быстро перебросился всем корпусом через стол и, приблизив лицо свое вплотную к Силантию и гляди ему в глаза, спросил, да таким голосом спросил, что Силантий затрясся:

— А, скажи, она тебе помогала, когда ты задушил Яхонтова?!..

У Силантия зубы стучали и он слова не мог вымолвить.

Начальник с наслаждением посмотрел на него:

— Ну, что же ты, брат?!.. — подбадривал он Силантия. — Видишь, все, братец, известно. А ты знай, Пшеницин, — за добровольное сознание — половина вины снимается, слышал?

Силантий молчал.

— Ну, ладно, — сказал почти весело начальник. — Вот ты говорил мне, что вы с Яхонтовым душа в душу жили и что никогда у вас никаких неприятностей не было, а не припомнишь ли ты... встречу одну на мосту? А? Помнишь? — отвечай!..

— Помню, — хрипло сказал Силантий.

— Как же ты говорил, что у тебя с ним никаких столкновений не было и что ты на него никакой обиды не имел, а?!.. Соврал значит, ну?!.

— Так точно...

— Ну, вот... — совсем благодушно сказал начальник. — Давно бы так! Ты, Пшеницин, имей в виду, что у нас везде глаза есть. Так что нас не обманешь. Ну, ладно... еще ответь мне на

один вопросик: скажи, пожалуйста, когда ты...

Сильный гудок и шум автомобиля под самым окном не дали начальнику договорить. Он подошел к окну и поглядел на улицу. Большой желтый автомобиль остановился у подъезда угрозыска и из него вышел рослый военный в буденовке. Начальник активно-секретной узнал в нем одного из следователей губернской чрезвычайной комиссии.

Тогда он жестом дал понять Силантию, что тот ему не нужен.

— Только смотри, — сказал он ему вслед, завтра рассказывай все без вранья.

— Слушаюсь, — сказал Силантий и вышел.

Оставшись один, начальник активно-секретной сел за стол и принялся разбирать дела. В связи с приездом следователя чека он ждал, что сейчас его позовут в кабинет начальника угрозыска.

Начальник угрозыска сидел у себя в кабинете и хмурясь просматривал сводку. Сводка была неприятная. За короткий промежуток времени три нераскрытых убийства! Черт знает, что они там делают!.. Он протянул руку к звонку.

В это время кто-то постучал в дверь.

— Войдите.

Чекист вошел. Они поздоровались. Начальник угрозыска предложил посетителю кресло, вышел из-за стола, подошел к двери и закрыл ее на ключ.

Тем временем начальник секретно-активной нервничал в своем кабинете. Он ждал, что его вот-вот позовут, но никто не шел. Прошло минут двадцать. Вдруг за окном зарявкал гудок автомобиля.

— Неужели уехал уже? — с неудовольствием подумал начальник секретно-активной и подошел к окну. Автомобиль стоял на месте. Двое ребятишек, взобравшись на место шофера, ссорились из-за того, кому нажимать на мячик гудка. Они отталкивали друг друга; и если которому-нибудь удавалось дотянуться до гудка, он торопливо и сладострастно стискивал его.

Шофер бежал к автомобилю, прожевывая что-то на ходу...

К начальнику секретно-активной вошел, наконец, один из сотрудников и сказал, что начальник угрозыска требует его к себе.

По лицу начальника угрозыска нетрудно было заключить, что разговор его с посетителем, который уже уехал, был далеко не из приятных.

Он не скрывал своего волнения от помощника. Тот сел и ждал, пока заговорит начальник.

— Ты знаешь, — сказал начальник нервничая, — они там

считают, что все эти убийства — на политической подкладке.

— Вот как?

— Да. И представь себе, когда я спросил его, почему они так думают, он рассердился даже: как, дескать, у вас за короткий срок убито трое партийных, старых партийных-подпольщиков, а ты еще, говорит, спрашиваешь, почему мы думаем, что это политические убийства.

— Ну, а ты что? — спросил помощник.

— Ну, а я ему сказал, что у нас за истекший квартал 8 убийств но округу и что если трое из убитых оказались партийными, так это может быть и чисто случайным. Во всяком случае, говорю, вот уже месяц, как ни о каких убийствах не слышно. Скорее, говорю, обращает на себя внимание то, что за последнее время страшно усилились преступления против нравственности. Намекнул ему, понимаешь ли, насчет последних изнасилований.

— Ну, а он?

— А он и слышать не хочет. К черту, говорит, твою нравственность. А скажи мне лучше, что у вас добыто по поводу этих убийств. Я ему сказал, а он, понимаешь, смеется: немногим, говорит, можешь похвастаться. Меня, понимаешь, взорвало: а если, говорю, дело это политическое, так берите его за себя.

— Так, — рассмеялся помощник. — А он что на это?

— Ну, конечно, в пузырь полез — ты, говорит, нам не указывай, что нам делать, мы без тебя свое дело знаем. Может быть, говорит, мы и без того, с вами рядышком работаем... Вот черт!.. А, ведь, все-таки, что ты там ни говори, а, ведь, дело-то неприятное получается.

— Да, — согласился помощник. — А ты ему насчет отпечатков пальцев говорил? Сказал бы ему, что на железине, которой был убит последний из коммунистов, найдены, мол, отпечатки пальцев. А раз, мол, копыто приложил — то, значит, и сам скоро попадется...

— Нет, не говорил я ему этого. Зачем я ему буду говорить? Это его в конце концов, не касается. Ты их убийцу найди да подай, тогда другое дело... Вот что, брат, — добавил он деловым тоном, — все-таки нам насчет этих убийств подхлестнуть надо. Я думаю на это дело Коршунова послать.

— Коршунову сейчас — вот! — возразил помощник, приставляя ребро ладони к горлу. — Он, ведь, на яхонтовском деле теперь. Редко его и видишь. Впрочем, сейчас он в регбюро сидит.

— Вот что — позови-ка его сюда, — оживился начальник угрозыска. — Мы Яхонтова другому передадим, а он пускай

этими убийствами займется.

Помощник хотел еще что-то возразить, но начальник еще раз, уже с оттенком официальности, повторил:

— Позови.

Помощник вышел в коридор.

Через минуту высокий сутулый человек с большими очками в черепаховой оправе на длинном остром носу вошел в кабинет начальника.

2 Мадемуазель Гера

Человек в форме железнодорожника подошел к вокзальному колоколу и ударил три раза. Заверещал свисток кондуктора. Поезд вот- вот должен был тронуться.

Вдруг в это время из вокзала торопливо вышел маленький светлоусый человек в желтом непромокаемом «макинтоше», одном из тех, что прислала нам когда-то «АРА», и в большой клетчатой кепке. За ним на привязи бежала большая, серая, похожая на волка, собака.

Запоздавший пассажир и его собака едва успели взойти на площадку, как машинист дал свисток, и поезд тронулся.

— Вовремя, Гера, вовремя! — пробормотал хозяин, наклоняясь к своей собаке и трепля ее по спине.

Он толкнул дверцу вагона, вошел и, миновав отделение проводников, проследовал дальше.

— Ага, да здесь никого нет, — удивленно проговорил он, останавливаясь посредине вагона и кладя маленький чемоданчик, бывший у него в левой руке, на вторую полку.

Действительно, кроме него с собакой да проводника в вагоне не было ни одного пассажира. Солнечные лучи, проходя сквозь захватанные стекла окон, дробились в них. давая радужное сияние, и косвенно освещали крашеные стены и пустые полки вагона, отчетливо делая видимой на них каждую маленькую пылинку. В вагоне было очень чисто и от этого, а также от яркого солнца пустота вагона казалась праздничной.

Единственный пассажир пришел, по-видимому, в самое прекрасное настроение.

— Ну, что ж, Гера, — обратился он к своей собаке, отстегивая тоненькую цепочку от ее просторного ошейника. — Стало быть мы здесь полные хозяева. Ну, и прекрасно. Располагайся, стало быть, где хочешь... Так-с... Ну, mademoiselle prenez votre place[13], — сказал он, указывая на нижнюю полку.

Собака быстро последовала его приглашению и, усевшись,

постучала несколько раз по скамейке длинным пушистым хвостом.

Хозяин этим временем снял кепку, повесил ее на вешалку и, высморкавшись, потянул в себя воздух:

— Ого! — сказал он, неодобрительно покачав головой. — Воздух-то здесь вагонный! Вам, м-ль, пожалуй, вредно будет.

Он подошел к окну и опустил его. Когда, по его мнению, вагон был достаточно проветрен, он закрыл окно, достал со второй полки свой чемоданчик, уселся рядом с собакой и стал доставать всевозможные баночки и кулечки, от которых шел вкусный запах.

Собака заглядывала в чемодан, и хвост и глаза ее выражали нетерпение.

Воспользуемся тем временем, пока человек в макинтоше роется в своем чемодане, и познакомимся поближе с его спутницей, которую он окружал такими заботами.

М-ль Гера скорее должна была бы называться фрейлен Гера, потому что принадлежала к породе немецких овчарок, называемой иначе — «вольфгунд», вследствие огромного сходства с волком. Это была особа выше среднего роста, темно-серого цвета, с короткой шерстью. Среднего размера голова сидела на длинной, крепкой и прямой шее. Линия лба имела прямое продолжение в линии носа. Торчащие остроконечные уши расходились в стороны. Глаза темного цвета стояли несколько косо. Длинное с прямой спиной туловище держалось на крепких мускулистых ногах, которые оканчивались закругленными лапами с короткими когтями. Хвост пушистый, длинный, опущенный вниз, украшен был в верхней своей части черным треугольником, как у волка.

Во всяком случае, встретив ее в каком-нибудь безлюдном месте, вы немало перепугались бы, не зная, что перед вами столь интеллигентная особа.

Наконец, жестокое испытание Геры кончилось. Хозяин ее, откинув столик, разложил на нем все запасы и принялся готовить для нее завтрак. Он отрезал несколько небольших ломтей хлеба, намазал на каждый ломоть тонкий слой сливочного масла, положил по небольшому пластику вареного мяса и стал класть их один по одному перед своей спутницей, путем жестов убеждая ее в то же время не торопиться с едой.

Последний кусок Гера только понюхала и затем, отворотив нос, жалобно взглянула на хозяина.

— А! — пить захотела, голубушка, — сказал он и, достав из чемодана маленький синий чайник, подул в него, заглянул и отправился в отделение проводников.

Вернувшись оттуда с отварной водой, он налил ее в чисто вытертую оловянную тарелку и поставил перед собакой. Гера с жадностью принялась лакать.

Ее господин тем временем начал закусывать сам. Он вытащил палку московской колбасы, нарезал ее толстыми ломтями и, выщипывая мякиш из хлеба, быстро стал есть, намазывая каждый ломтик горчицей и запивая прямо из рожка чайника.

Гера протянула морду и обнюхала ломтик колбасы. Очевидно, после того, как она удовлетворила жажду, у нее снова появился аппетит.

— Ну, нет, дорогая, — строго сказал хозяин, держа в левой руке ножик с горчицей, а правой отстраняя морду собаки, — это вам вредно.

Гера, застыдившись, опустила морду, и, извиняясь, замахала хвостом.

Позавтракав, человек в макинтоше собрал все в чемодан и, усевшись рядом с собакой, медленно и поучительно стал ей что-то рассказывать, задумчиво почесывая у нее за ошейником.

Так в полном и ненарушимом спокойствии они проехали несколько станций. Скоро, однако, счастью их суждено было расстроиться.

На одной из небольших станций к ним вошло сразу трое новых пассажиров.

Вместе с грубыми и грязными мешками и сундучками домашней работы они внесли с собой шум, громкоголосицу и тот нехороший сквозняк, и какое-то беспокойство, которое всегда сопровождает каждого нового пассажира и вызывает такую нестерпимую ненависть к нему у всех, кто сел значительно раньше и успел уже освоиться и полюбить свой вагон. Эта ненависть преследует новичка, по крайней мере, до следующей станции или до тех пор, пока он не возьмет тон разговора и поведения, установившийся в этом вагоне.

Хозяин поморщился, а собака насторожилась, когда вошли трое новых. Один из них был, судя по форме, матросом речной флотилии; на товарищах его была сборная одежда, засаленная и грязная.

Проходя по вагону, они мельком взглянули на человека с собакой и, пройдя в следующее купе, стали там устраиваться.

Собака вздрагивала каждый раз, когда кто-нибудь из них, затолкав багаж на самую верхнюю полку, тяжело прыгал потом на пол.

Наконец, они мало-помалу успокоились и сразу, как только тронулся поезд, принялись по обычаю большинства пассажиров, за нескончаемую еду, угощая друг друга.

Человек в желтом макинтоше перестал обращать внимание на своих соседей, закрыл глаза, прислонился к стене и дремал, положив руку на спину собаки. Вдруг светлые закрученные усики его шевельнулись, но лицу пробежала гримаса, и он с удивлением открыл глаза. Ему послышалось бульканье глотаемой жидкости и крепкие покрякивания в соседнем купе, хотя он великолепно помнил, что никто из новых пассажиров не выходил за водой.

А между тем, разговоры его соседей становились все громче, и оживленнее. Они говорили наперебой, не слушая друг друга, хотя слышно было, что матрос забирает верх в разговоре. Он беспрерывно рассказывал что-то, а товарищи его только вставляли замечания и подхохатывали.

— Я, брат, в Иртыше, в Оби все дно насквозь знаю! Мне и лота не надобно. А там хоть туман, хоть что будь, я тебе с закрытыми глазами пароход проведу. Только, конечно, чтобы говорили мне, что сейчас, дескать, такие-то места проходим, а сейчас такие-то.

— А тебе на морях-то не приходилось плавать? — спросил его один из товарищей.

— На морях? Нет. Врать не буду. На морях я, действительно, не бывал. Я с юных лет в сибирской речной флотилии. Больше всего у Плотникова — в пароходстве. Вот эксплуатация была, ой-ой-ой! Теперь почти что и понятия не имеют! Хотя новых-то матросов теперь и не видать что-то. Да-а... сколько я рейсов сделал, если подсчитать!., который год плаваю...

— Да, — сказал один из собеседников, — всего, наверно, пришлось насмотреться.

— Ну, как же! — вскричал матрос. — Хотя в 19 годе взять: сам адмирал Колчак с нами прокатился до Тобольска — фронт ездил проверить. И другой адмирал — Старк — тоже с ним сопутствовал.

— Вот, поди, прикрутили вам хвосты-то! — сказал один из слушателей.

— Ну, чего там! Наоборот даже, наши ребята-матросня шпакулили над ними обоими: видно, говорят, много же их, адмиралов-то, расплодилось, что морских кораблей под их не хватает — на речной какой-то пароходишко двое морских адмиралов залезло!..

Слушатели расхохотались. Опять послышалось бульканье.

— Н-да... — продолжал матрос, прожевывая что-то. — И они тоже, видно, промеж себя стеснялись. По двое-то не любили на палубу выходить. Только ежели один адмирал вышел на палубу, так другой сейчас обратно — один мимо другого пройдет, честь по-морскому отдадут — и сейчас один, который на палубе был, в

салон первого класса удаляется и смотрит из окна, когда другой на свежем воздухе настоится, место ему освободит, тогда опять он выходит.

— Да, поди, зазорно им было на вашем-то пароходишке шлепать, — заметил один из собеседников.

— Ну, еще бы! — сказал матрос . — Хотя наш-то пароход из лучших первый считался, — спохватился он, обиженный пренебрежительным отзывом.

Снова послышалось бульканье и жевание. Пассажира в желтом макинтоше это бульканье, видимо, сильно раздражало.

— Вот, черт! — пробормотал он, вскакивая и щелкнув пальцами.

— Ведь все, кажется, захватил, а это забыл!..

Он прошелся нервно вдоль купе, постоял, посмотрел в окно на бегущую мимо степь и затем, подойдя к столику, пренебрежительно нацедил из чайника воды и выпил, страшно поморщившись.

В соседнем купе тем временем становилось все веселее и веселее. Кто-то из собеседников или, вернее, из собутыльников начинал уже беспорядочно топтаться, проверяя, должно быть, насколько надежны будут ноги его в танце.

— Эх, вы, ребятишки! — взвизгнул один из приятелей — За гармонью что ли слазать? — Гармонь у меня, братцы, тульская, системы «танго», от лучшего мастера Витчинкина!

— Шпарь! — крикнул матрос.

Гармонист полез на верхнюю полку доставать гармошку. Товарищи помогали ему вскарабкаться.

— Ну, что вам сыграть? — спросил гармонист, надевая ремень и пробуя лады.

— Камаринского!

— Вались ты! — крикнул матрос. — Не хочу я ваши деревенские танцы. Ты матросский танец «матлет» знаешь?

— Знаю.

— Вот и сыграй.

Гармонист заиграл «матлет». Матрос стал танцевать.

В соседнем купе было вовсе не так весело, как здесь. Как только раздались первые звуки гармошки, собака начала тоскливо взвизгивать и перебирать лапами.

Хозяин пробовал се успокаивать:

— Гера, Гера, ух, ты, славная собака! — говорил он, садясь рядом с ней и зажимая ей ладонями уши. Но это помогло ненадолго.

В самом сильном колене «матлета» м-ль Гера вырвала голову из рук хозяина и отчаянно завыла. Глаза ее увлажнились слезами.

Взгляд ее, устремленный на хозяина, казалось, говорил: «послушай, не сердись, я знаю, что огорчаю тебя, но не могу сдержать своих нервов, прекрати мое страдание».

И господин ее понял, что выражал взгляд его подруги. Он нервно повернулся на каблуках и вошел в соседнее купе, остановившись в проходе.

Увидев его, гармонист перестал играть, матрос застыл в незаконченном па.

Некоторое время все молчали.

— Милости просим в компанию нашу, — сказал, наконец, гармонист, указывая гостю на лавку.

— Спасибо, — сухо ответил тот, покручивая свой светлый ус. — Вот что, товарищи-граждане, — продолжал он официальным тоном, — я к вам насчет того пришел, чтобы вы прекратили играть.

— Почему?! — воскликнули все в один голос.

Матрос засунул руки в карманы.

— А потому, что не полагается в вагонах железной дороги игра на инструментах, — сказал пассажир в желтом макинтоше.

— А ты что? — Кондуктор? — спросил его матрос, нагнув голову и глядя, как бык.

— Не кондуктор, а перестаньте! — крикнул раздражаясь светлоусый. Полные бритые щеки его побагровели. — Если надо, я и кондуктора позову.

— А что вам, гражданин, моя гармошка повредила? — спокойно и презрительно спросил гармонист.

— А то, что у меня в купе собака, и она не переносит.

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — загрохотали все трое. Гармонист хохотал сильнее всех, хлопая ладонью по гармошке.

— Слушайте, — сказал он, наконец, совершенно серьезным тоном, когда вдосталь нахохотался, — а кто она у вас будет?

— Как — кто?

— Ну мужчина или дама?

— Сука, — сказал недоумевая гражданин в макинтоше.

Новый взрыв хохота оглушил его.

— Ах, дамочка, значит? — подхватил матрос шутку товарища. — Ну, тогда приглашаю ее в тустеп... Ангаже ву! — крикнул он, изгибаясь перед макинтошем.

Тот отступил.

— Петруша — тустеп! — крикнул гармонисту матрос.

Гармонист заиграл. Собака завыла.

Хозяин ее злобно плюнул и побежал в купе проводников. Через минуту он вернулся с проводником. Долго увещевал

проводник расходившихся приятелей. Сначала они не хотели и слушать. Они хохотали, ругались и обзывали проводника «гаврилкой». Наконец, тот пришел в ярость и заявил, что на ближайшей станции он высадит их и передаст в ОРТЧК.

Приятели образумились.

Тяжко вздохнув, гармонист снял с плеча ремень гармошки. Наступила тишина.

— Да-а! — мрачно сказал, наконец, матрос. — Едет какой-нибудь спекулянтишка-живодер, а гаврилки перед ним на коленках ползают.

— Тоже времечко пришло, не хуже старого режиму!

— Ну, добро бы хоть перед ним лебезил, а то и перед сукой-то его: что прикажете, ваше сиятельство, салфет вашей милости!

— А! — сказал третий и безнадежно махнул рукой.

— Эх, закурить что ли с тоски, — сказал позевывая матрос.

Все закурили. Дым тоненькими волоконцами стал распространяться в соседнее купа.

— Перестаньте курить! Здесь вагон для некурящих, — тонким злым голосом закричал хозяин Геры.

— А ну, любопытно взглянуть, какие вы из себя будете, — сказал матрос, входя в соседнее купе. Из-за его спины выглядывали лица приятелей.

— Что же это за безобразие! — возмущенно вскричал гармонист,

— на гармошке нельзя играть, курить нельзя! Опять, поди, для вашей барышни вредно?

— Да, вредно, — серьезно ответил макинтош. — Это портит ей обоняние.

— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! — расхохотался матрос. — Нет, товарищ, курить-то мы будем, а дама ваша пускай в дамский вагон перейдет.

Хозяин Геры, ни слова не говоря, поднялся и открыл окна с той и другой стороны.

— Товарищ, закройте окно — сквозняк. Простудиться из-за вашей дамы не лестно!

— Бросьте курить, тогда закрою.

— А, так ты вот как?!.. — зарычал матрос и шагнул к окну.

Хозяин Геры загородил окно. Матрос яростно схватил его за шиворот макинтоша и рванул:

— Чего с тобой разговаривать, с гнидой буржуазной!

Макинтош ударился носом о железину верхней полки.

Но в этот же миг м-ль Гера со страшным рычанием бросилась на матроса и впилась в его ляжку. Матрос рванул ногу. В прорванном месте брюк забелело белье, скоро окрасившееся

кровью.

Собака урча смотрела ему вслед. Шея ее втянулась, шерсть стояла дыбом. Хозяин ее, прижимая к носу платок, подошел к ней и начал успокаивать.

Но в это время гармонист, вскарабкавшись для безопасности на вторую полку, запустил в собаку снятым с ноги сапогом и вдобавок загавкал еще по-собачьи.

Одним прыжком собака была на полке; и плохо кончилось бы это для гармониста, если бы хозяин собаки не закричал на нее и не вцепился бы ей в шерсть.

Еле-еле она его послушалась. Хозяин увел ее.

— А курить мы все-таки будем, — сказал гармонист, оправившись от испуга.

Они все трое сели возле самого прохода и принялись усиленно курить, пуская дым в соседнее купе.

Светлоусый вынул из кармана газету и закрылся ею.

Скоро поезд остановился. Это была последняя перед Омском станция.

Человек в макинтоше вскочил, надел шапку, взял в левую руку чемоданчик, а в правую цепочку, за которую привязана была собака, и пошел к выходу.

— Вот так, давно бы пора! — сказал ему вдогонку матрос.

Все захохотали.

Однако, веселье это оказалось преждевременным.

Минут через пять в вагон вошел военный в форме сотрудника ОРТЧК. Макинтош с собакой следовал за ним. Военный подошел к приятелям.

— Вам, товарищи, придется забраться в другой вагон, для курящих, — спокойно сказал военный.

Слова его вызвали возмущение.

— Что это еще такое?! Откуда такие порядки?! — закричал матрос. — Спекулянтишка какой-то расселся с сукой своей, так и курить нельзя и на гармошке нельзя. Не нравится ему, так пускай на площадке стоит, а мы не пойдем.

— Ну, ну, поторапливайтесь, товарищи, — сказал военный. — А то поезд тронется скоро, тогда на себя пеняйте, если останетесь на станции.

Матрос негромко выругался и принялся собирать свои вещи. Товарищи тоже.

— Ну, на что это похоже?!.. — возмущался матрос, застрявший с багажом своим в узком проходе. — Небойсь, когда Сашу Керенского за манишку брать стали, так к нам на крейсер «Аврору» прибежали: «Товарищи, звезданите по Зимнему дворцу», а теперь вон что получается!

Его возмущение, вероятно, вышло из всяких границ, если только на омском вокзале ему удалось увидеть, что макинтоша и его собаку дожидался автомобиль.

На заднем сиденьи сидел человек в сером пальто и шляпе — высокий, сутулый, в огромных очках на длинном и остром носу.

Он открыл дверцу автомобиля и, протянув руку человеку в макинтоше, помог ему войти в автомобиль. Однако, видно было, что радостная улыбка, растянувшая его худое лицо, относилась к собаке, а не к владельцу ее.

Он прижался в угол, давая ей место в середине.

М-ль Гера с сознанием собственного достоинства села и, подняв морду, скромно облизнулась.

Шофер дал гудок. Автомобиль тронулся.

3 «Угрозыск, проснись!»

Разгневанный начальник уголовного розыска сидел за своим письменным столом. Высокий человек в больших очках стоял сбоку, держа в руках шляпу.

На столе лежала раскрытая газета.

— Вот полюбуйтесь, товарищ Коршунов, — сказал начальник, отчеркнув синим карандашом какую-то заметку.

Коршунов стал читать.

В заголовке заметки крупным шрифтом стояло: «Угрозыск, проснись!». Дальше шло следующее:

«Мы уже упоминали несколько раз о том, что в нашем городе появилась гнусная и, по-видимому, неуловимая шайка отъявленных хулиганов — насильников над женщинами.

За последнее время, за короткий сравнительно срок, произошло более десяти случаев изнасилований, иногда в самых людных местах города. Преступники до сих пор не выявлены.

Угрозыск, проснись!».

— Ну, что? — спросил начальник, когда Коршунов отложил газету.

— Что ж... ничего... обычная заметка, — невозмутимо сказал Коршунов, снимая очки и вытирая стекла носовым платком. Только зря они напечатали это: все-таки это как бы дискредитирует, а в конце концов не можем же мы опубликовывать секретную работу, которая иногда годами ведется.

— Совершенно верно, — сказал начальник угрозыска. — Об этом у меня еще будет разговор с редактором. Так нельзя. Но, видишь ли, брат, какое дело... Ты, вот сам сейчас признал, что

заметка эта вредна для нашей работы, потому что ты хорошо знаешь, что значит в нашем деле авторитет... Так?

— Так, — сказал Коршунов.

— Стало быть, что же теперь приходится делать? — Ясно: поскорее эту заметку обезвредить. А это тогда только получится, когда эта же самая газета напечатает: вот, дескать, вся шайка выловлена.

— Ясно, — подтвердил Коршунов.

Начальник, видимо, был доволен, что Коршунов поддакивает:

— Ну, вот, — улыбнулся он. — Значит, нужно это дело ускорить, чтобы результаты были налицо. А кто у меня сейчас на этом деле? — молодняк! Послать было некого, сам знаешь. Так что выходит, что только тебя на это дело.

Коршунов отшатнулся.

— Меня?! — испуганно спросил он. — Да ты что — шутишь?

— Ничего, брат, не шучу, — печально вздохнув, сказал начальник. — Сам же ты признаешь, а кроме тебя мне не на кого положиться.

— Нет, как хочешь, — не могу! — сказал Коршунов, вставая и взволнованно жестикулируя. — Это хоть кого угодно убьет. Ты подумай: занялся я убийством командира Яхонтова — сам знаешь, какое это дело — ну, и совсем, кажется, на мази было, и вдруг — извольте: нате вам другое дело! Сам же ты тогда бузу поднял: скандал, политическое убийство! — займись, Коршунов!.. Ладно. Занялся. Опять как будто уж все ниточки в руку собрал, и опять срываешь! Третье дело подсовываешь... Нет, это безобразие, так работать нельзя! — закончил он.

— Ты знаешь, — добавил он, видя, что начальник сидит спокойно. — Ведь я специально для этого дела ищейку с проводником выписал. Это чего-нибудь стоило или нет?!..

— Пустяки, — сказал начальник угрозыска, — собака тебе и в этом деле понадобится. А изнасилования надо раскрыть. Брось Яхонтова и политические эти убийства. Да к тому же вряд ли они политические. Ведь вот уже сколько времени прошло, а больше ни одного... Да, должно быть, и там так же думают, — мотнул он головой в сторону окна. — Так что ты уж, Коршунов, с теми делами повремени. Пресса, брат, — ничего не поделаешь!

Коршунов стоял в раздумьи.

— Ну, ладно, — наконец, согласился он мрачно. — Только боюсь, что ты меня на четвертое дело сорвешь. Так, знаешь, не полагается.

— Да я и сам знаю. Да так уж получилось... А насчет четвертого дела не бойся, — улыбаясь, сказал начальник. — Ну, так, значит, берешься? Насчет всего этого ты у Миши спроси — у

него это дело.

— Ладно, — сказал Коршунов и пошел к двери.

— Погоди, — окликнул его начальник, — а как у тебя относительно того... с деревянной ногой... по яхонтовскому делу?

— Так что — как? Стоит он себе возле моста, милостыню собирает. Насчет его нечего беспокоиться — с деревяшкой не ускачет! А, кроме того, он у меня в роде как бы под негласным надзором: я каждый день его вижу, как через мост еду.

— Так что, значит, та и за это дело держишься? — засмеялся начальник. — Ну, а как та у тебя?

— И за той присматриваю малость, — сказал Коршунов и тоже рассмеялся.

— Ну, всего хорошего.

— До скорого...

Коршунов вышел. У подъезда его ждал мотоциклет с прицепной кареткой.

Когда мотоцикл проезжал через мост, Коршунов приказал замедлить. Силантий Пшеницин действительно стоял здесь, но не совсем на прежнем месте, а несколько пониже и влево—в сторону Люблинского проспекта. Место было куда хуже прежнего, потому что здесь в деревянную чашечку Силантия перепадало только от тех, кто проходил но боковой улице. Да и самая фигура Силантия не обращала здесь на себя такого внимания, как там — на мосту, где рука его, словно шлагбаум, преграждала путь всем прохожим. Здесь к тому же Силантий большею частью не стоял, а сидел на маленьком ящике из-под гвоздей, потому что стоять было тяжело: не было перил, на которые можно было бы опереться. Кроме того, отступя шаг, за его спиной был обрыв берега и легко было оступиться.

Словом место было во всех отношениях хуже, чем старое.

Когда Силантия выпустили из угрозыска, обязав подпиской о невыезде, ему ничего не оставалось делать, как взять свою деревянную чашечку, которую он было применял уже для хозяйственных надобностей, и отправиться на прежнее место — на мост — просить милостыню.

Так он и сделал. Но каково же было его изумление, а сначала и негодование, когда он увидел, что его место, единственное место на мосту, где можно было стоять, не мозоля особенно глаза, не подвергаясь опасности быть раздавленным и в то же время не пропуская ни одного прохожего, — было занято другим! Но скоро негодование Силантия прошло, потому что соперник его был воистину жалчайшее существо.

Это был нищий, совершенно слепой и не владеющий ногами, хотя обе они были целы. Вследствие этого последнего

обстоятельства он посажен был так, чтобы ноги его приходились вдоль намостного тротуара и не мешали бы прохожим. Немного поодаль, где тротуар загибался в боковую улицу, стояла тележка, на которой привозили и увозили калеку.

Силантий подошел к своему сопернику. Слепой сидел на какой-то тряпке, держа в руках деревянную чашечку, и что-то гнусил про себя.

— Здравствуй, слепес! — сказал Силантий, останавливаясь возле него.

— Здравствуй, — ничего не выражающим голосом сказал слепой и не пошевельнулся даже, как будто он разговаривал с кем-то внутри себя.

— Ты давно тут сидишь? — спросил Пшеницин.

— С паски.

— Так... — сказал Силантий и замолчал, не зная, что ему теперь говорить и делать.

— С паски сижу, — повторил слепой, поглаживая чашечку.

— Так, сидишь, значит... — сказал опять Силантий и отшвырнул концом костыля какую-то гальку. — А как тебя звать? — помолчавши немного, спросил он слепого.

— Иван...

— Так... Ну, вот что, Иван, — стряхнув свое раздумье, сказал вдруг Силантий решительным, но немножко со слезой голосом. — Гляжу, братец, я на тебя, да и думаю: я — калека разнесчастный, одной ноги нет, а ты, видно, еще меня несчастнее. Дак бог с тобой, сиди на этом месте!... Мое оно раньше было, дак только теперь сиди уж...

Таким-то вот образом утратил Силантий Пшеницин право на свое место и перешел на новое — несколько левее моста.

Прошло немного времени, и между обоими калеками установились добрососедские отношения.

Вначале Силантий ожидал, что плохо ему будет в смысле подаяний, да так и вышло бы, если бы не одно обстоятельство, которого Силантий совершенно не мог понять. .

Был знойный пыльный день. Силантия разморило от жары. Место, где он сидел, было совершенно открыто — на самом солнцепеке. Редко-редко кто проходил по его стороне. Силантий стал дремать. Сквозь дремоту ему показалось, что хрустнул гравий возле него. Он открыл глаза — никого не было. В чашечке его лежала бумажка в десять тысяч рублей[14].

— Что за притча?!.. — пробормотал Силантий.

Он стал оглядываться, но и поодаль никого не было. Силантий был очень взволнован: таких денег он бы и в два месяца не высидел. Досидев до заката из чувства приличия перед

постовым милиционером, Силантий, наконец, поднялся, подхватил свой ящик и отправился в Нахаловку, расположенную, как известно, не особенно далеко от моста. Он квартировал там в маленькой «саманной» мазанухе у одной бездетной вдовы.

На другой день повторилось то же самое. И опять не уследил Силантий, кто из прохожих опустил в его чашечку десятитысячную бумажку. Так продолжалось и дальше, и. наконец, Силантий привык к этим щедрым подаяниям и перестал беспокоиться, что, понятно, было вполне естественно, так как в чудесном происшествии этом не было ничего неприятного.

Было еще одно замечательное обстоятельство во всем этом необычайном происшествии, которое показывало в неизвестном благодетеле желание не просто швырнуть подачку, а оказать действительную помощь: Силантий заметил скоро, что неизвестный увеличивал сумму пожертвования но мере того, как дешевели деньги.

За здоровье раба божьего — «имя ему, ты же, господи, веси» — Силантий поставил свечку.

Можно было бы, кажется, Силантию перестать теперь нищенствовать, потому что денег хватило бы у него надолго, но ему как-то и в голову не приходила подобная мысль. Изменилось в его поведении только то, что он не обижался теперь, когда никто ему ничего не давал, и сидел, как благодушный и спокойный созерцатель суеты человеческой. Он засиживался теперь даже дольше обыкновенного. Он и раньше, когда у него были обе ноги, был всегда домоседом, а теперь уж сидячий образ жизни стал для него самым естественным. К тому же махорку он курил теперь самого высшего сорта и посидеть вечерком в самом людном месте, покуривая и созерцая, было очень приятно.

Однажды Силантий засиделся таким образом до темноты. Зажглись уже мостовые фонари. Наконец, он почувствовал, что его прохватывает сыростью, подобравшейся от реки, и поднялся со своего ящика. Ящик свой, по заведенному раз навсегда порядку, Силантий относил слепому, а утром вместе со слепым привозили и ящик.

Теперь между калеками была неразливная дружба.

— Ну, что, Иван, — спросил Силантий, подходя к своему другу, — не приехали еще за тобой?

— Нет еще, — сказал слепой.

— Ну, ладно. Прощай покудова. Вот тебе кресло мое.

Силантий положил возле слепого ящик и заковылял, пересекая мост.

Тут на него чуть не наехали. Силантий не расслышал вовремя, потому что пролетка была на рези новых шинах.

Отпрыгнув, Силантий выронил костыль. Он поднял его и, повернувшись к дороге, собирался выругать кучера, но коляска уже проехала мост. Однако, следом за нею, отстав саженей на двадцать, шла другая, за нею третья, четвертая — все на резиновых шинах. В первых трех пролетках сидело не меньше, как человек по пяти, а в четвертой только один — высокий нахохлившийся человек в больших очках с толстой тростью, на которую он слегка опирался.

— Что за черт, свадьба ли чо ли?!.. — подумал сначала Силантий. — Только не должно быть: все мужской пол... Разве что жених с шаферами?

Но сразу же вслед за этим, увидев в четвертой коляске «жениха», Силантий ссутулился и быстро зашагал прочь.

Оставим теперь Силантия, тем более, что он все равно со своей деревяшкой никуда дальше Нахаловки не уйдет, да к тому же он, ведь, дал подписку о невыезде, — и воспользуемся лучше свободным местом рядом с женихом, чтобы поспеть с ним на свадьбу, которая обещает быть очень пышной, судя по тому, что все «шафера» в военной форме и у каждого на поясе портупеи чернеет тупорылая кобура нагана.

И далеко, должно быть, поджидает невеста поезд своего жениха! А, может быть, в кладбищенской церкви будут венчаться — за городом...

Вот проехали центр, вот зазыбались пролетки по немощеным бесфонарным улицам окраин, вот, наконец, и последние, похожие на хлевы, домишки кончились, а они все едут и едут.

В полуверсте за городом остановились, посоветовались немного и, съехав с дороги, поехали напрямик к черневшей вдали небольшой березовой роще. За рощей начинались уже заброшенные с давних пор кирпичные саран.

Луна никак не могла пробраться совсем сквозь облака и все время была как бы словно салом подернута. Казалось, и не темно, а разглядеть дорогу было невозможно. Того и гляди треснет на какой-нибудь рытвине ось. Все, кроме кучеров, вылезли и пошли пешком.

Доехавши до березовой рощи, остановились. Двое подошли к четвертой коляске и о чем-то тихо стали советоваться с человеком, сидевшим в ней.

Он объяснил им что-то вполголоса, показывая тростью. Они отошли. Он выпрыгнул из коляски и подошел к группе. Скоро весь отряд разбился на три: один из них углубился в рощу, два других стали обходить ее с боков.

Минут через двадцать отряд левого фланга, в котором был человек в больших очках, обогнул рощу. Все остановились

прислушиваясь. Из глубины рощи доносилось потрескивание веток. В руке начальника мигнул электрический фонарик. С противоположного конца ответили тем же. Отряды пошли навстречу друг другу. Скоро и третий отряд вышел из рощи, и все соединились. Отсюда, рассыпавшись редкой цепью, пошли по направлению к сараям. Идти было трудно: то и дело попадались глубокие, с крутыми краями ямы, из которых брали когда-то глину на кирпичи. Теперь эти сараи были заброшены. Боковые жерди и солома, их покрывавшая, давно были растасканы, так что остался полусгнивший недоглоданный остов, меж черными ребрами которого виднелось звездное небо. Сараи хороши для изнасилования и убийства. Однако, в виду того, что здесь все было видно насквозь, отряд миновал их.

За сараями опять перестроились в три цепи. Шли не разговаривая. Старались не производить шума. Наганы были в руках. На первый взгляд могло показаться, что отряд охватывает с такими предосторожностями совершенно пустое место. Только на самом краю размытого дождями оврага чернеет над обрывом земляной горб. Трудно было представить, что под этим горбом приютилась хаза, относительно которой в угрозыске были сведения, что здесь в эту ночь соберутся опаснейшие преступники города.

Хаза представляла собой низкую мазануху с плоской земляной крышей, с двумя маленькими окнами. Одну из стен ее заменял, или, по крайней мере, поддерживал берег оврага.

Агенты один за другим осторожно спускались в овраг по узким крутым тропинкам, протоптанным возле самых стен с обеих сторон хазы.

В окнах было темно.

Перед дверью хазы стоял человек в мешковатом нижнем белье. Вот он позевнул, взглянул для чего-то на небо и, передернувшись весь от холода, шагнул к двери. Он взялся уже за скобку, как вдруг двое агентов бросились на него сзади. Он упал вместе с ними.

— Ляга-а-а-вка, ляга-а-а-вка! — изо всей силы закричал он, барахтаясь И хрипя.

Ему заткнули рот, скрутили и оттащили на дно оврага. В хазе послышался шум. Несколько агентов ворвалось в сенцы. В это время изнутри звякнул крючок. Кто-то успел закрыть дверь. Агенты принялись стучаться.

Один из оцеплявших хазу агентов подошел к окну и направил в него свет электрического фонаря. Пучок света быстро обежал стены, потолок, пол, русскую печь, большой стол, на котором среди четвертей и бутылок распластано было чье-то тело, и,

наконец, остановился на лежавших вповалку на полу мужчинах и женщинах.

Видно было, что в хазе поднялся переполох. Один за другим вскакивали бандиты. Заспанные лица выражали растерянность и испуг. Кто-то побежал к двери, но ему дали под ножку, и он повалился.

Еще минута, и отчаянная шайка грабителей и мокрушников сдалась бы без всякой попытки к сопротивлению. И все это сделал ударивший из тьмы улицы пучок света! Разве может сопротивляться человек, вырванный из мрака и объятий проститутки и внезапно увидевший вдруг себя во всей своей нечистоте, в грязном неуклюжем белье, ярко освещенным рукою незримого в темноте врага?!.. Героев в нижнем белье не бывает.

Растерянность была полная.

Вдруг одна из женщин вскочила, взвизгнула и, повернувшись к окну спиной, быстро нагнулась, подняла подол рубашки и подставила свой обнаженный круп пучку света.

Фонарик потух.

Это был распространенный среди известного круга жест, выражающий вызов и презрение к врагу.

Эта дикая выходка произвела на оторопевших бандитов действие, подобное тому, которое оказало появление Жанны д'Арк на Карла VII и его войско во время осады Орлеана.

Один из бандитов рванул к себе стол и, опрокинув его, загородил им окно. Окна хазы на минуту осветились изнутри, затем огонь потух, и из хазы стали стрелять. Вслед за этим в сенках послышались удары, ругань, борьба, и агенты, бывшие там, выбежали на улицу. Один из них, зажимая руками живот, пробежал несколько шагов и упал.

Остальные залегли в цепь и открыли частый огонь.

Коршунов отдал распоряжение, не прекращая огня, подползать к противнику, чтобы в подходящий момент атаковать его.

К нему подполз один из агентов:

— Не выйдет, товарищ Коршунов, — сказал он, — они нас всех так могут...

Коршунов помолчал немного и сказал что-то агенту, показывая тростью на крышу.

— Есть, товарищ Коршунов, — сказал агент и пополз на левый фланг.

С левого фланга отделились пять человек и поползли в сторону. Стрельба из хазы прекратилась. Очевидно, там берегли патроны.

Через минуту фигуры агентов обозначились над оврагом на

фоне неба. Агенты взошли на крышу и принялись, словно по команде, высоко подпрыгивать, тяжко ударяя в крышу ногами.

Крыша начала глухо трещать. Треск все усиливался.

Вдруг стекло с дребезгом вылетело из рамы. Кто-то крикнул оттуда:

— Что вы, сволочи, задавить нас думаете?!..

— Сдавайтесь! — закричали из цепи.

— Сдаемся! — крикнуло сразу несколько голосов. И вместе с отборными блатными ругательствами из окна полетели один за другим четыре нагана.

— Вот так, давно бы пора! — рассмеялся Коршунов.

Агенты расхохотались. Но хохот быстро умолк, потому что раненый агент застонал. О нем как-то все забыли во время перестрелки.

Начальник подошел к нему, наклонился и, расстегнув на нем шинель, осмотрел рану, освещая ее фонариком. Рана была ножевая — длинная и глубокая, как раз посредине живота. Кишки выпирали из нее.

— Эх, жаль доктора не захватили! — пробормотал Коршунов. — Вот что, ребята, — обратился он к агентам, — двое возьмите-ка его, перетяните ему хоть рубахой что ли, да сейчас его на шинели — до пролетки, а потом живо в больницу. Ну-ка, Михайлов, Кошкин!

Двое подошли к раненому, сделали кое-как перевязку и, положив на шинель, понесли.

— Не выживет, — сказал Коршунов.

— В доску[15] — крикнул кто-то из бандитов, когда раненого проносили мимо хазы. — Я ему весь кучик[16] в брюхо спустил. Эй, вы с..., кого это я помочил?! — крикнул он, нагло посмеиваясь. — Фамилию, имя скажите, чтобы знать, кого поминать!

— Молчи, б..! — ответил кто-то из агентов. — По вам вот поминки надо будет справлять, когда вас завтра за кирпичный завод поведут!

— Врешь! — крикнул бандит. — Без венчанья не поведут[17].

— Надейся, как же! — крикнул агент.

— Позагсят — без венчания сойдет! — подхватил другой.

Из хазы посыпалась блатная ругань.

— Ну, жалко, что апельсинчиков[18] с нами не было, а то бы помочили которых!

— Да и так бы досталось, если бы сунулись. Только что на крышу залезли!..

— А кто это, какая б.....стукнула вам[19], узнать бы?

— Никто нам не стукал. Мы и без стукачей вашу шпану

выловим! — кричали в ответ агенты.

Коршунов, наконец, вмешался и прекратил перебранку.

— Эй, вы! — крикнул он бандитам. — Кто у вас тут бандура[20]?

— А вот чью варзуху видали, та и бандура, — ответил ему хриплый женский голос.

Бандиты захохотали.

— Что, жаба[21], получил? Вот наша бандура какая! — кричали они.

— Ну, ладно, — сказал спокойно Коршунов. — Выходите по одному.

По обе стороны двери и напротив нее стали агенты с направленными на выходящих бандитов наганами.

Сам Коршунов стоял прямо против выхода и освещал фонариком лицо каждого выходившего. Бандиты жмурились и ругались. Мужчины и женщины выходили один за другим с поднятыми руками.

— Колька Чернота.

— Мишка Лодырь.

— Сашка Курсант.

— Фенька Клюква! — опознавал инспектор угрозыска бандитов.

— Ого, да вся головка тут! — сказал он с явным удовольствием, когда вышел последний, девятый по счету бандит. — Ну, теперь газетам писать будет нечего!..

Всех блатных перевязали и, окружив, стали выводить из оврага...

А на следующее утро разносчики бойко торговали воскресной газетой, крича надорванными голосами:

— Новое изнасилование за городом!..

4 Воскресная прогулка

Дворники не подметали еще тротуаров и мостовых. На улицах в такую рань нельзя было встретить ни прохожего, ни проезжего. Поэтому вполне естественно, что постовой милиционер, стоявший на углу возле сада, посмотрел с большим удивлением на двух граждан, восседавших в пролетке вместе с собакой.

— Наверное, охотники, — догадался он, наконец, и, конечно, не ошибся, потому что. действительно, это были охотники — Коршунов и Макинтош.

Они разговаривали о собаке,

— Да, она у меня умница, — говорил хозяин Геры. — Я думаю, что другой такой и в Москве не сыщешь, а в Сибири-то уж наверное. Вы и представить не можете, сколько мы с ней поработали! — он потрепал собаку но спине.

— Да, — сказал Коршунов. — А я, вот, не работал с собаками —не приходилось, да и все-таки это требует больших специальных знаний. А я уж и без того, знаете ли, ходячая энциклопедия, — улыбнулся он.

— Да, работа с собакой требует особых знаний и большой опытности, — сказал Макинтош. — Какой же ты, например, агент-проводник, если ты не сам дрессировал собаку, а работаешь с чужой воспитанницей! А есть и такие агенты! — проговорил он с возмущением.

— Вы, я вижу, увлекаетесь своим делом, — улыбнулся Коршунов.

— Слушайте! — вскричал Макинтош и даже подпрыгнул на своем сиденьи, поворачиваясь к собеседнику. — Да если скажут мне теперь: вот тебе сто тысяч золотом, живи себе припеваючи, только брось свою специальность, так я даже ни минуты не подумаю и откажусь, ей— богу, откажусь!..

— Охотно вам верю, — сказал Коршунов.

— Правда? — полувопросительно воскликнул Макинтош, обрадовавшись, что Коршунов не усомнился в искренности его слов. — Да и как же иначе? — ведь вы, я думаю, от своего дела не откажетесь.

— Скорее повешусь, — серьезно сказал Коршунов.

— Вот. Я так и думал, — удовлетворенно продолжал собеседник.

— А меня, знаете ли, некоторые даже за сумасшедшего считают... некоторые знакомые. Впрочем, знакомых-то у меня, собственно, и нет, т. е. в общепринятом смысле: вот, чтобы домами были знакомы — я с женой к кому-нибудь в гости, а они бы ко мне...

— Почему? — спросил Коршунов резким и нервным голосом.

— Да так, знаете ли... — ответил собеседник его, смущаясь. — Как бы вам сказать... знакомые-то имеются, только все из своего круга — сотрудники же.

— Т. е. вы хотите сказать, что с вами стыдятся знакомиться? Так?!.. — сказал Коршунов, глядя в упор на собеседника.

Тот заморгал белыми ресницами, и красное лицо его еще больше покраснело. Он промолчал.

— Ну, что ж, — сказал Коршунов, освобождая спутника от своего неприятного взгляда, — напрасно вы смущаетесь так: мы все разделяем в этом отношении вашу участь.

Сосед его задвигался облегченно.

— Вот я вам один случай расскажу, — продолжал Коршунов. — Недавно к начальнику секретно-активной приходит... господин один — банковский служащий какой-то. Солидный, в фетровой шляпе, словом, ответственный спец, короче говоря. Я был тоже в кабинете. Пришел он, оказывается, возмущаться: дело, видите ли, в том, что в его отсутствие явились к нему на квартиру наши сотрудники. Открыл им его сынишка лет 14 и испугался. Спросили они, кто здесь живет, и выяснилось, что произошла ошибка — зашли не в тот номер квартиры... Ну, извинились и ушли. Так вот он и прибежал возмущаться. Конечно, дело вполне естественное, что и говорить! И начальник его выслушал и тоже извинился, и агент понес взыскание. Подошел я к окну, когда господина этого уже не было, так, знаете ли, по привычке — посмотреть, на чем он приехал. Смотрю — он сразу же, как только вышел из подъезда, так сейчас шляпу на самый нос и воротник пальто поднял, а, ведь, было начало мая! Так, я, знаете ли, так и плюнул с досады!..

Макинтош жадно слушал.

— И так, ведь, все они — эти «бетушные», — рассмеялся Коршунов. — Пропади у них кошка какая-нибудь паршивая, так и угрозыск, и милицию перевернут. А так, в частной жизни: что вы! — знакомство с сотрудником угрозыска, да это компрометирует, — как раньше выражались. Эх, знаете! — воскликнул он. — Хотя и не полагаются нам по службе такие мысли, а мне иногда хочется посмотреть, что будет с нашим обществом, с гражданами этими, с женами их и детками, если мы хоть на неделю прекратили бы свою работу! А?!.. Представьте себе, что весь здешний блат, все эти мокрушники, насилователи, растлители, шнифера и ширмачи, — узнают вдруг, что на целую неделю уголовка сложила руки, и почтенные граждане предоставлены самозащите! Можете вы вообразить себе, что тогда начнется?!..

— О! — восхищенно произнес Макинтош, глядя на собеседника, и в глазах его Коршунов увидел запретные искорки.

— Да... — в раздумьи сказал Коршунов. Возбуждение его угасло. —А ну их, в конце концов, к черту! Давайте лучше говорить о собаках. Вы, кажется, говорили насчет воспитания ищеек?

— Да. Что агент-проводник должен их сам воспитывать. А дело это настолько трудное, что никто и не представляет. Ведь, помимо некоторых личных качеств, воспитатель-сыщик должен обладать еще большими познаниями в области собачьей психологии. Впрочем, вы, вероятно, читали по этому вопросу? — спросил Макинтош.

— Ну, конечно, читал кое-что, как криминалист. Но специально этим не занимался. О психологии собак читал, кажется, что-то у Гросса, у Дурова немножко.

— Ну! — улыбнулся хозяин Геры. — Гросс устарел, а Дуров специально дрессировкой в наших целях не занимался. Вы Герсбаха должны прочесть или Оберлендера... А сейчас мы все равно об этом не успеем поговорить.

Действительно они не заметили в разговорах, как выехали уже за город. Саженях в двухстах в сторону от дороги виднелся маленький кол — место, где произошло в эту ночь изнасилование.

— Ну, вот, мы и приехали, — сказал Коршунов. — Не больше получаса ехали, — добавил он, взглянув на горизонт, на котором огромным, расплывшимся желтком поднималось солнце.

Попавшие в лучи верхушки деревьев сквозили, но ниже была еще тень, и в стволах деревьев таилась тяжесть. В воздухе становилось заметно теплее.

Хозяин Геры был очень рад этому обстоятельству.

Экипаж свернул с дороги, проехал еще несколько сажен, подпрыгивая на маленьких упругих, поросших конотопом, кочках, и остановился. Агенты с собакой вылезли.

Коршунов объяснил кучеру, что его обязанность — стоять на месте до тех пор. пока ему из рощи не подадут знак, а тогда он должен на некотором расстоянии ехать за ними так, чтобы не терять только их из виду.

Пока они разговаривали с кучером, из города показался и быстро стал приближаться к ним большой грузовой автомобиль. Скорее они даже не увидели, а ощутили его сперва, потому, что он шел с неимоверным грохотом и такими взрывами и фырканиями, что подошвы их прежде глаз отметили его приближение, подобно тому, как сейсмограф отмечает отдаленные землетрясения.

Макинтош вдруг испуганно рванул собаку и бросился с нею в сторону от дороги.

Коршунов успел заметить, что лицо его выразило тревогу.

— Что с вами?!.. — спросил Коршунов, догоняя его и едва удерживаясь от смеха.

— Как что?!.. Да ведь этот дьявол все бы нам испортил! — вскричал хозяин Геры, показывая на автомобиль, который был теперь совсем близко. — Бензин, бензин! — продолжал он, волнуясь и видя, что Коршунов не понял еще. — Да, ведь, он ей нюх перешибет! Это все равно, что со всей силы палкой ее по носу ударить!.. По этому нежному, шевровому носику! — запричитал Макинтош с нежностью и, наклонившись к собаке, приподнял ей

голову и поцеловал в лоб.

— Видите — в нос даже и не целую! — сказал он, глядя на Коршунова. — О, это тончайший, тончайший инструмент! — вдохновенно и поучительно воскликнул он, подняв палец.

— Постойте-ка! — перебил вдруг испуганно Макинтош свои излияния и, смочив слегка слюной мизинец, выставил его вверх. —Ого! — заметил он с беспокойством. — Есть небольшой ветерок со стороны дороги. Если этот идиот, — кивнул он на грузовик, — напустит бензину-то... И за каким он чертом тащится?!..

— Я думаю, — ответил Коршунов, посмотрев на грузовик, — что он везет хлеб в лагеря.

— Этого еще недоставало! — воскликнул с отчаянием хозяин Геры: — Запах бензина и горячего ржаного хлеба — убиться можно!

Слушайте, — обратился он жалобно к Коршунову, тронув его за рукав, — отбежимте скорее сажен хоть на пятьдесят в сторону и полежим где-нибудь в ямке, пока этот запах не рассеется.

Коршунов не мог отказать ему в этой просьбе.

Они отошли от дороги и расположились в одной небольшой ложбинке. Гера уселась рядом с хозяином и от скуки принялась ловить мошек, громко клацая зубами и конфузясь до слез от каждой неудачи.

Коршунов и Макинтош разговаривали меж тем о собаках-ищейках, их психологии, выучке и породах. Макинтош рассказывал интересные случаи, где отличилась его Гера.

— Скажите, — спросил напоследок Коршунов, — почему все-таки у вас — «вольфгунд», а не «доберман-пинчер»? Судя по тому, что вы мне сообщили, между ними довольно-таки трудно сделать выбор.

— «Доберман-пинчер» нежнее, — ответил Макинтош. — Поэтому в нашем климате «вольфгунд» лучше.

— Так! — сказал Коршунов. — Ну, что, — можно, вероятно, тронуться? — спросил он его.

— Да, теперь можно.

Все трое поднялись и направились к маленькому колку.

Не входя в него, Коршунов остановился, сверился с какой-то бумажкой, вынутой из кармана, и указал пальцем на небольшую, освещенную уже солнцем поляну в глубине колка.

— Я предоставлю начать вам, — сказал он поклонившись.

— А я как раз собирался просить вас об этом, — ответил довольный Макинтош и приступил к работе.

Коршунов не узнал своего спутника: он сразу преобразился, он священнодействовал. Бережно неся в одних только пальцах цепочку, протянутую к ошейнику собаки, он ни разу не допустил,

чтобы цепочка дернулась и опустилась, несмотря на то, что собака шла не прямо и неравномерно, а подавалась то вправо, то влево, и то ускоряла, то замедляла свой бег. Движения их удивительно совпадали, и трудно было решить, кто кого ведет. Казалось, что и человеком, и собакой управляло одно общее сознание.

Коршунов, оставшийся по просьбе Макинтоша у крайних берез, с восхищением следил за ними.

До самой почти поляны, где совершено было изнасилование, Гера шла быстро, не останавливаясь, но, подходя к этому месту, она заметно замедлила свой бег и низко, чуть не к самой земле, опустила морду.

Хозяин ее тоже пригнулся.

Теперь Гера шла толчками. Раза два она взглянула на хозяина, он ей сказал что— то. Наконец, сделал два или три круга с отбегами в сторону, собака решительно пошла в сторону степи и скоро они вышли из колка.

Макинтош подал знак Коршунову. Тот догнал их уже в степи.

Лицо хозяина Геры было серьезно и в то же время было значительно спокойнее, чем до начала слежки.

— Знаете, — сказал он, не переставая следить за поведением собаки, — я вначале несколько беспокоился: боялся, как бы не спутала она следы преступника со следами жертвы. Но, вот, одно уж то обстоятельство меня успокаивает, что она идет в сторону города. А жертва, как нам известно, пришла, ведь, в город.

— Точно так, — сказал Коршунов.

Собака, между тем, все чаще и чаще начала останавливаться и временами теряла след. Тогда проводник осторожно оттягивал ее и, отводя стороной на то место, где она еще ясно чувствовала след, направлял снова.

— Неблагоприятная почва, да и ветер здесь сильнее, чем в роще, — угрюмо сказал он, отвечая на подразумевавшийся вопрос Коршунова.

Там, где мягче была почва, Гера бежала более решительно.

Так шли они с полверсты. Оба сильно устали. Коршунов время от времени оглядывался, — едет ли за ними экипаж.

На одном из пригорков собака остановилась, вытянула шею и принялась нюхать воздух. Проводник, начинавший уже терять терпение, снова хотел отвести ее и направить на след, но она предупредила его и с такой решительностью рванулась назад и влево, что он выпустил цепочку; запыхавшись, он догнал Геру и поднял цепочку.

— Странно, — с одышкой проговорил он.

Видно было, что этот поступок собаки сильно смутил его.

Коршунов хмуро вышагивал рядом. Шляпа была у него на затылке. На большом напряженном лбу выступил пот.

Однако, собака шла быстро и уверенно, низко опустив нос.

— Черт возьми! — вполголоса пробормотал Макинтош. — Да неужели она нас к тому вон кусточку ведет?!. Ведь там и зайцу-то негде спрятаться! —он указал на тощую низкорослую иву на склоне небольшой ложбинки.

Эту иву они прошли уже, и она осталась у них по левую руку. Теперь собака, не колеблясь, вела их к этой иве. Оба сыщика еле поспевали за ней.

Шагах в пятидесяти Гера остановилась насторожившись. Проводник подал знак, что нужно прислушаться. Однако, ничего не было слышно. Прошли еще шагов двадцать, и на этот раз сам Макинтош остановил собаку.

Теперь оба они ясно слышали тихий звук, как будто кто-то медленно распиливал сырое и мягкого сорта дерево.

На собаку жалко было смотреть: вся она напряглась, шея ее, казалось, раздулась оттого, что шерсть поднялась дыбом, в горле как будто клубок прокатывался, и чувствовалось, что она сейчас лает, заливается яростным беззвучным лаем, и этот беззвучный лай душил ее.

Хозяин посмотрел на нее, и она покойно уселась, жалобно поглядывая на него.

Макинтош и Коршунов сделали еще несколько шагов и увидели того, по чьим следам шла собака.

Вот что они увидели.

На самом склоне маленькой ложбины, хорошо укрытой от солнца и посторонних взглядов возвышенными ее краями и свисавшей над ней ивой, лежал, раскинувшись на спине и громко похрапывая, какой-то человек. Лица его нельзя было рассмотреть, так как оно закрыто было, очевидно, от комаров, полотняной шляпой, ослепительно белой. На нем были из того же материала пиджачная пара и желтые ботинки. На кисти левой руки, покоившейся на животе, были надеты часы в кожаном браслете, защищенные металлической решеточкой.

Коршунов и Макинтош остановились за кустом. Гера сидела там, где ее оставил хозяин.

Убедившись окончательно, что незнакомец крепко спит, Коршунов сделал Макинтошу знак оставаться на месте и, осторожно ступая, спустился к спящему. Мягкая трава совершенно заглушала шаги.

Коршунов склонился над спящим и быстро-быстро принялся обшаривать его. Спящий не перестал даже храпеть.

Через минуту Коршунов стоял уже на пригорке и шепнул

Макинтошу, чтобы тот шел за ним. Они отошли к месту, где осталась собака, и присели возле нее.

— Слушайте, почему вы шляпу у него с лица не сняли?!.. — возмущенно прошипел Макинтош.

— Потому что не хотел его беспокоить, — спокойно возразил инспектор угрозыска, загадочно поглядев на него.

Тот только молча развел руками и всем видом своим показал, что ждет немедленных объяснений.

— Ну, ясно, — продолжал Коршунов, — если бы я снял с его лица шляпу, то он бы, наверное, сейчас же проснулся. А какое я имею право нарушать мирный сон гражданина, утомленного воскресной прогулкой?!.. Тем более...

— Товарищ Коршунов?!.. — вскричал Макинтош и не мог говорить дальше: голос у него перехватило.

— Тише! — предостерегающе подняв ладонь, зашипел на него Коршунов. — Тем более, — продолжал он невозмутимо, с расстановками и таким назидательным и искусственно-холодным тоном, что у бедного Макинтоша не оставалось сомнений, что над ним издеваются... — тем более, что это вовсе не тот, кого мы ищем!

— Товарищ Коршунов!... моя Гера...

— Ваша Гера на сей раз ошиблась, — безжалостно отрезал инспектор.

— Докажите! — прохрипел Макинтош, губы его дрожали.

— Извольте. Это нетрудно, — сказал Коршунов. — Вы, вероятно, видите, как одет этот человек.

Несчастный хозяин Геры молча кивнул головой.

— Так. Стало быть, вы должны были заметить, что этот человек одет в хороший майский костюм, совсем свежий, даже со складочками на брюках, которые, как вам известно, делаются вдоль каждой штанины с помощью утюга и требуют частого подновления, потому что скоро мнутся... это вы могли видеть и с пригорка... Теперь скажу о себе. Я, как видели, обшарил все его карманы и сделал это нисколько не хуже, чем какой-нибудь ширмач (с кем, знаете ли, поведешься, от того и наберешься! — пошутил мимоходом Коршунов). И, конечно, в это же самое время я попутно произвел тщательный общий осмотр, и вот что он мне дал: подбородок этого господина чисто и недавно выбрит, что вместе с тонким и свежим бельем, хорошо подобранным галстуком и приличным неизмятым костюмом обозначает в этом субъекте хорошие привычки и ни в коем случае не дает нам никаких оснований, — подчеркивая слова, заключил Коршунов, — подозревать его в такой гнусности.

Хозяин Геры сидел, склонив голову.

— Но, позвольте! — вскричал он, когда Коршунов кончил. — Да разве этого достаточно?!..

— Я предпочитаю руководствоваться выводами логики, чем нюхом собаки, — с ехидством возразил Коршунов. — Ежели вам это не доказательно — будем рассуждать. Вам, может быть, известно, что большинство судебно-медицинских авторитетов сошлось на том, что мужчина средней силы один на один не может изнасиловать средней силы женщину, если только не оглушит ее предварительно ударом по голове, сдавлением горла, сильной физической болью или парализующим все движения страхом. Что мы имеем в данном случае? Я мимолетно видел жертву: это — здоровая и сильная с виду и немолодая к тому же женщина. Мать нескольких детей. К сожалению, я не успел ее расспросить, как следует, потому что вы стали торопить меня. Но при всем этом приходится предположить, что эту женщину охватил внезапно такой сильный и прямо-таки неестественный страх, что она подчинилась без всякой даже попытки к сопротивлению. Разве было сопротивление, если перед нами чистенький, с иголочки и неизмятый костюм у того вон человека, который лежит под кустом и мирно храпит?!.. Прибавьте к этому то, что на его руках я не усмотрел ни малейшей даже царапины. Разве можно представить, что такая крепкая и пожилая женщина отдалась бы человеку такого сложения, как сей бухгалтер?!..

— Бухгалтер?!.. — переспросил Макинтош.

— А вот посмотрите-ка, — с этими словами Коршунов вынул из кармана какую-то бумажку и протянул Макинтошу.

Это было вытащенное им из кармана у спящего удостоверение личности, в котором значилось, что предъявитель сего состоит в должности помощника бухгалтера губфинотдела.

Несчастный хозяин Геры прочел удостоверение, молча вернул его и, медленно поднявшись с земли, повернулся спиной к Коршунову, и отошел на несколько шагов.

Гера, словно чувствуя, что совершается в его душе, нарушила запрет и, забежав перед хозяином, села и стала смотреть ему в глаза.

— Эх, Гера, Гера! — пробормотал тот, покачав укоризненно головой.

Гера подошла к нему и лизнула руку, но он даже не погладил ее, не посмотрел на нее.

Коршунову сделалось жалко и хозяина, и собаку. Он встал и подошел к товарищу.

— Вот что, бросьте! — сказал он, положив ему руку на плечо. — На всякую старуху бывает проруха!

Но Макинтош ничего ему не ответил. Коршунов отошел.

Минут через пять хозяин Геры позвал своего торжествующего соперника.

— Товарищ Коршунов!

— Что?

— Я просил бы разрешить мне продолжать исследование... Если вы устали, я могу один... Мне хочется выяснить, по крайней мере, с какого места она пошла но ложному следу.

— Пожалуйста, — вскричал Коршунов, обрадованный, что хоть чем-нибудь может облегчить переживания своего сотрудника. — Я охотно с вами пройдусь еще раз.

— А как же с тем? — Разбудить? — кивнул Макинтош в сторону ивового куста.

— А зачем? — сказал Коршунов. — Пускай себе спит. Уйти от нас незаметно он никак не может: кругом ровная степь, а куст этот нам все время с пригорка виден, так что не нужно... Если Гера нас далеко станет отводить, ну, тогда, пожалуй...

Агент-проводник взял в руки цепочку и повел собаку напрямик к тому участку пройденного пути, на котором, по его мнению, она шла еще по верному пути.

На этот раз собака пошла увереннее, чем в прошлый. Проводник едва поспевал за ней.

— Ну-ну, Герушка, выручай, матушка, не осрами! — упрашивал он собаку, пользуясь тем, что уставший Коршунов отстал и не мог ничего слышать.

Все шло гладко до того самого проклятого места. Дойдя до него, собака, не задумываясь даже, круто свернула несколько назад и влево и побежала к кусту.

Хозяин, страшно побледнев, тянул в отчаяньи за цепочку. Ничто не помогало. Задыхаясь, Гера тянула к кусту.

Коршунов, видя все это, не счел нужным даже следовать по пути, пройденному собакой, а шагал напрямик.

Он не мог скрыть своей улыбки. Они сошлись возле самой ивы и вместе спустились в ложбинку.

— Как?!.. — воскликнул вдруг растерянно Коршунов.

Спутник его выронил из рук цепочку. Гера смотрела на хозяина: под кустом никого не было.

Примятая трава обозначала место, где лежал помощник бухгалтера.

— Черт возьми! — вскричал Коршунов, топнув ногой. — Да что он — сквозь землю провалился?!..

Действительно, другого выхода как будто и не было: кругом простиралось ровное пустое поле...

Макинтош повалился вдруг на колени и прижался щекой к морде собаки:

— Гера... Герушка! Прости меня, дурака!.. — бормотал он, целуя ее в глаза, в лоб и даже в нос.

Он не стыдился теперь своих слез, которые обильно бежали по его запыленному лицу, оставляя грязные следы.

Это были слезы радости, гордости и обиды...

Часть четвертая

1 Обратным ходом

«Что имеем не храним, потерявши — плачем» — только теперь постигла Ксаверия Карловна все значение этой банальной истины. Только теперь поняла она, что всю жизнь глубоко любила Ферапонта Ивановича. А подумала ли она хотя бы раз в жизни об этом? Нет. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом раньше, она, пожалуй, обиделась бы. Как — любить этого некрасивого чудаковатого человека, над которым решительно все — и товарищи и барышни — всегда немного подсмеивались!?.. Да разве она не из жалости и каприза вышла за него замуж? Ведь ей представлялись такие прекрасные партии. А этого человека, вечно вожделевшего к женщинам и в то же время робкого с ними, она именно пожалела. В то время, когда он был еще холостым и бывал у них в доме, ей часто становилось стыдно и больно за него, если она видела, что и другие замечают его вожделеющие взгляды, которыми он, казалось, касался каждой здоровой женщины, и его безобразное смущение, когда которая-нибудь из женщин подходила к нему близко и начинала разговаривать.

Про Ферапонта Ивановича был слух в кружке тогдашней молодежи, что робость в обращении с женщинами появилась после того, как, будучи студентом третьего курса, он, забыв о своей невзрачной наружности, сделал предложение одной известной красавице, а она, выслушав его, принялась хохотать и хохотала до истерики.

И этого-то человека назло всем, назло самой себе, Ксаверия Карловна предпочла всем остальным искателям ее руки. Она твердо была уверена, что после того, как Ферапонт Иванович станет ее мужем, для него перестанут существовать все остальные женщины. В этом она ошиблась.

Когда коллеги Ферапонта Ивановича или их жены позволяли себе иногда подшутить над ревностью Ксаверии Карловны, она всегда возмущалась. Да разве она ревнует! Очень-то он ей нужен! — нет, ей просто неприятно, когда она видит своего мужа осмеянным по поводу его волокитства.

Так понимала свои взаимоотношения с мужем Ксаверия Карловна в то время, когда он был жив. Теперь, после его смерти, с каждым днем она все больше и больше убеждалась, что она все

время по-настоящему любила его и ревновала просто потому, что любила.

И вот, когда сделались нестерпимы боль и тоска от сознания того, что огромное счастье было так долго рядом, и ушло безвозвратно неузнанное и отвергнутое сердце, ради какой-то пустой гордости и ложного стыда, — тогда душа Ксаверии Карловны обрела свое успокоение в том, что стала жить ретроспективной жизнью, и жизнь эта постепенно забирала от реальной жизни все силы и краски.

Здесь Ксаверии Карловне пришел на помощь сон — этот лучший и сладчайший для человека сводник с недосягаемыми предметами любви.

Я знавал людей, которые томились днем в ожидании сна, как морфинист в ожидании очередного укола, Эти люди нашли себе надежного проводника в царство несбыточного и слепо вверили ему свою душу. Такая привычка, становясь сладостной и непреоборимой, как морфинизм, делает в конце концов человека сомнительным для реальной жизни, подобно этому разрушительному пороку. Каждый, кто перенес смерть горячо любимого существа и не прибегал для утоления тоски своей ни к наркотикам, ни к шумным радостям жизни, знает подобное состояние.

Сны Ксаверии Карловны развертывали перед ней целый свиток дней, прожитых с Ферапонтом Ивановичем. Иногда эти сны достигали такой яркости и вещественности, что когда она открывала глаза, то увиденное во сне долго еще продолжало бороться с потоком реальности, стремясь опрокинуть его.

Один из таких ярких снов приснился ей в конце мая, когда уже прошло около четырех месяцев со дня смерти мужа, и остался ей памятен на всю жизнь.

Ей приснилась первая брачная ночь. Переживания сна были настолько напряженными, что когда до сознания Ксаверии Карловны сквозь блаженное, пронизанное розоватым звоном, забытье дошел чей-то резкий голос, говоривший ей, что приехали шафера, она подумала с досадой и удивлением: зачем теперь шафера? чего им еще надо?!.. Но голос настойчиво повторял то же самое; чья-то рука потрогала ее за плечо, и Ксаверия Карловна из объятий супруга вернулась к действительности.

Над ней, нагнувшись, стояла кухарка и будила ее.

— Вставайте, Ксаверия Карловна, там каки-то приехали, — воспитательницу спрашивают.

— Кто приехал? — спросила Ксаверия Карловна сонным голосом.

— А я и не разобрала кто, — гыкнув, сказала кухарка. —

Шафера ли чо ли каки-то.

— Вот дура! — какие могут быть шафера? — удивилась Ксаверия Карловна и принялась одеваться.

На дворе она увидела человек семь приезжих. Это все была молодежь. Одеты были все хотя и плохо, но по-городски. Приехали все на одной телеге. Среди них Ксаверия Карловна заметила одну девушку.

Увидев Ксаверию Карловну, девушка эта — высокая стройная брюнетка в красной косынке — подошла к ней, поздоровалась и заговорила.

— Мы — культшефы, — отрекомендовалась она.

— Очень приятно, — ответила, слегка поклонившись, Ксаверия Карловна.

— Шефствуем мы собственно не над вами, а над вашей деревней. Но, когда мы туда приехали и провели там вечер, то секретарь ячейки сказал, что здесь рядом — детская колония и посоветовал заехать сюда провести и здесь вечер.

— Да как же вы его проведете? — удивилась Ксаверия Карловна. — Ведь у нас здесь идиоты!

— Идиоты? Да неужели все? — спросила девушка.

— Нет, не все, но и остальные недалеко отстали, так что ничего у вас здесь не выйдет.

Девушка, по-видимому, была сильно огорчена.

— Елена! — крикнули в это время из толпы: — Чего ты там дипломатию разводишь?!..

— Сейчас! — откликнулась Елена и отошла к своим.

Ребята посовещались. Потом они вместе с Ксаверией Карловной побывали в детдоме, побеседовали с воспитанниками и сами убедились, что из вечера ничего не выйдет.

Ксаверия Карловна посоветовала им остаться ночевать. Культшефы согласились.

Вечер они провели в саду, возле костра. Потом все выкупались и пошли спать.

Комсомольцы легли в зале на полу, а Елена устроилась в соседней маленькой комнатке. Она легла не раздеваясь на скамейку, послав па нее пальто.

Она начинала уже засыпать, как вдруг ей послышалось, что кто-то зовет ее. Она открыла глаза.

— Елена! — услышала она возле самого уха явственный шепот.

Елена привстала и огляделась. В комнате было светло от окна и от неплотно притворенной двери в зал, где комсомольцы оставили на всякий случаи одну лампу. Никого не было видно.

— Вот что, ребята, бросьте все ваши фокусы! — спать

мешаете, — рассердилась Елена. —А не то я Кускову пожалуюсь.

Кусков был комсомолец, руководитель культшефского отряда.

— Во-первых, это не фокусы, — произнес тот же голос, — а, во-вторых, для черта ваш Кусков не страшен.

— Вот идиоты-то, — проворчала Елена, не зная сама — сердиться ей или смеяться: уж очень ловко спрятался кто-то.

— Если ты черт, — добавила она смеясь, — так отправляйся к чертовой матери, только скажи предварительно, где ты так здорово спрятался.

— Нигде я не спрятался. Вот я — возле вас, — сказал голос, и Елена почувствовала, как кто-то крепко обнял ее плечи.

Она рванулась и сильно ударила локтем в сторону. Удар, должно быть, пришелся в лицо. «Черт» отпустил ее.

Елена опять осмотрелась: решительно никого не было в комнате.

— Ну-ну, однако, — проворчал в это время голос из пустоты. — И локоток же у вас, моя дорогая.

Елена бросилась к двери, чтобы крикнуть своих. Она схватилась уже за скобку, но в это время «черт» отдернул ее и зашептал над самым ухом:

— Ради бога, не делайте этого, прошу вас. Я — друг вашего покойного мужа — друг Яхонтова.

Елена почувствовала страшную слабость во всем теле. Если бы «черт» не поддержал ее, с ней случился бы обморок.

— Вы успокойтесь, пожалуйста... присядьте... Я вам не причиню никакого вреда... А если хотите, то я сам уйду — незачем звать посторонних, — уговаривал Елену «черт», подводя к скамейке и усаживая.

— Да кто же вы, наконец? — изменившимся от волнения голосом спросила Елена.

— Друг Яхонтова, — ответил голос.

— Да кто же вы такой?!.. — истерически крикнула Елена.

— Тише! — прошептал невидимый посетитель, и Елена услышала, что он подошел к двери и плотно закрыл ее. — Боитесь? —укоризненно спросил он, присаживаясь рядом с ней. — Напрасно... Я такой же человек, как все, совершенно такой же. А вам тем более не следует меня бояться, потому что друг вашего покойного мужа — в то же время и ваш друг.

— Если вы не скажете, кто вы такой, я сейчас же уйду, — оборвала его Елена.

— Ну, вот... — недовольно проворчал невидимый. — Ну, что вам, если я скажу вам свое имя и фамилию? Я-то вас знаю хорошо и давно. Даже больше того, мое чувство к вам...

— Всего хорошего! — сказала Елена вставая. — Я не имею желания слушать ваши объяснения в любви.

— Постойте! — удержал ее невидимый. — Если уж вы так настаиваете, то извольте — я — Ферапонт Иванович Капустин.

2 Исповедь Ферапонта Ивановича

Когда прошли первые минуты растерянности, Елена забросала Капустина беспорядочными вопросами. Она прямо-таки не знала, что ей спросить наперед.

— Слушайте, так, значит, это вы приходили в кафе «Зон» с Яхонтовым?

— Да. Если вы не забыли, то я ходил туда и раньше. И ходил ради вас.

— Вы опять!

— Что ж! — вздохнул Ферапонт Иванович. — Оставлю, если вы не доверяете мне: невидимому верить трудно.

— Слушайте, мне просто кажется, что я с ума сошла. Неужели передо мной настоящий невидимый человек! Я даже боюсь, что это галлюцинация.

— Что ж! Это и правда. В известном смысле я — ваша галлюцинация, — сказал рассмеявшись Ферапонт Иванович.

— То есть как? — спросила Елена и таким встревоженным голосом, что невидимый] расхохотался.

— Ага! — сказал он. — Привыкли уж настолько ко мне, что теперь страшно и подумать, что я — ваша галлюцинация.

Елена промолчала.

— Могу вас успокоить, — продолжал Ферапонт Иванович. — Хотя вы, действительно, имеете дело с явлением так называемой «отрицательной галлюцинации», но все-таки я-то существую вполне реально, как существовал и тогда — в кафе «Зон».

— Но в то время вы не были еще невидимкой?

— Нет, не был.

— Слушайте, Ферапонт Иванович, разрешите мне потрогать ваше лицо, — сказала Елена.

— Пожалуйста, очень рад, что ваши ручки...

— Опять! — прикрикнула на него Елена.

— Ну-ну, не буду больше. Извините. Физиономия моя к вашим услугам.

Елена пробежала пальцами по его лицу.

— Да вы бреетесь! — воскликнула она с удивлением.

— А вы как думали? — рассмеялся Ферапонт Иванович. — Если невидимка, так, по-вашему, запустить должен себя?

— Но как же вы не порежетесь, не видя своего лица?

— Да кто же вам сказал, что я его не вижу? Меня другие не видят, а сам-то себя я вижу, как и прежде.

— Ничего не понимаю, у меня голова кругом идет , — сказала Елена. — Но как же? — я вот помню читала Уэльса, у него невидимка не видел сам себя.

— Ну! — презрительно сказал Ферапонт Иванович. — Уэльсовский невидимка никого-то не видел. Он совершенно слепой был.

— Ну, уж это вы врете! — возмутилась Елена. — Я великолепно помню роман: Гриффит вовсе не был слепым.

— Только в угоду автору и вопреки рассудку, — возразил Капустин. — Но разве это резон?!.. Автор, конечно, может заставить своего героя пятками щи хлебать, и герой это сделает. Только в жизни-то этого не бывает и никогда не будет!

— Так, по-вашему...

— По-моему, господин Уэльс — невежда, а невидимка его — слепой, да и читатели тоже.

— Ну, уж, знаете ли, вы через край хватили, — возмутилась Елена.

— Скажите, вы с устройством глаза знакомы? — бросая препирательства, спросил ее Ферапонт Иванович.

— Ну, да, немного...

— Много и не нужно. Значит, вы знаете, как человек видит предметы?

— Как будто знаю.

— Хорошо. Теперь вспомните, как Гриффит — уэльсовский невидимка — стал невидимым.

— Он там наелся какого-то вещества. От этого тело его сделалось бесцветным и прозрачным, как воздух, — припомнила Елена.

— Вот-вот! — с затаенным торжеством воскликнул Ферапонт Иванович. — Бесцветным и прозрачным! Все тело! А, стало быть? А, стало быть, и весь глаз. Тьфу, черт возьми, как вспомню, что сам когда-то читал эту невежественную стряпню, так и захочется, чтобы сейчас этого господина Уэльса сюда представили. Уж я бы ему показал!.. «Великий фантаст»! Да какой ты черт фантаст, если ты не понял, что ежели весь глаз, и склера, и роговица, и радужка, и хрусталик, и стекловидное тело, и все дно глаза, и все стенки его, — если все это будет прозрачно, как воздух, то никакое зрение здесь невозможно! Ведь это же любой профан поймет... Эх, ты, фантаст! — закончил презрительно Ферапонт Иванович, как будто господин Уэльс уже стоял перед ним и выслушивал нагоняй.

Елена долго молчала, видимо, обдумывая.

— Да, — наконец, сказала она, — а я вот ни разу об этом не подумала.

— Вот это-то и плохо, — назидательно сказал Ферапонт Иванович, — а еще предполагали, что я стал невидимкой по рецепту Уэльса.

Хорош бы я был: невидимый да еще слепой! Да меня бы любой извозчик раздавил. По Уэльсу выходит, что невидимка у него был зрячий, да и то сколько неприятностей натерпелся. А на самом деле его должны были на первых же шагах раздавить. Куда к черту — невидимый да еще слепой! А потом, если бы я по его рецепту действовал, то мне пришлось бы голым разгуливать.

— А я что-то не помню, чтобы невидимка голым бегал.

— А как же! Ведь только тело его приобретало невидимость, а брюки, пиджак, шуба с организмом ведь не связаны. Нет, это, по-моему, удивительное зверство со стороны господина Уэльса заставить бегать человека голым при тамошнем сыром климате. Да и с едой у него плохо обстояло: скушает Гриффит колбасу, скажем, и до тех нор, пока эта колбаса не пропитается соками тела, торчит, проклятая, в воздухе! Это уж, извините, тоже не по-людски. Нет, я не дурак, чтобы по Уэльсу работать! — самодовольно закончил он.

— А как же вы сделались невидимкой? — спросила Елена.

— Так, вот я уже говорил вам: на основе отрицательной галлюцинации.

— Этого я не знаю, — сказала Елена. — Объясните, пожалуйста.

— С удовольствием. Для вас, Елена, — сказал невидимка, расшаркавшись, и она почувствовала, что он придвинулся слишком близко. Она молча отодвинулась.

Ферапонт Иванович несколько минут смущенно молчал.

— Ну, так вот, — начал он, наконец, прокашлявшись, — отрицательная галлюцинация... Вам известно, конечно, что внушением в гипнозе можно вызвать у человека какие угодно ложные восприятия. Можно заставить загипнотизированного видеть и слышать что угодно и чего нет на самом деле. Это будет называться положительной галлюцинацией. Но можно и наоборот: заставить его сознание не воспринимать тех предметов или людей, которые стоят у него в поле зрения. Стойте хоть перед самым его носом — загипнотизированный вас не увидит. Вот это будет — отрицательная галлюцинация.

— А как же окружающие предметы? Ведь их-то он видит, — спросила Елена.

— Конечно, — ответил Ферапонт Иванович. — Гипнотик не

видит только того, что ему запрещено видеть. То, относительно чего ему внушена отрицательная галлюцинация.

— Ну, а как же? — продолжала допытываться Елена. — У него, стало быть, на месте этого предмета должен быть пробел, пустое место?

— Нет. При отрицательной галлюцинации фантазия гипнотика дополняет выпавшее из его сознания.

— Ах вот как, значит, он может налететь не видя, удариться об этот предмет?

— Да нет, этого обычно не бывает. Я же сказал, что предмет этот выпадает из сознания, а бессознательно гипнотик продолжает его воспринимать.

— Это здорово! — воскликнула Елена.

— Еще бы! — самодовольно отозвался Капустин. — Пользуясь этим, я спокойно перехожу улицы. Извозчик меня не стопчет, он меня объезжает. Его подсознательное я воспринимает мой образ, а сознание не видит.

— Так, погодите, ведь вы говорили о загипнотизированном?

— Ну, да. Извозчик этот и есть загипнотизированный, т.-е. правильнее будет сказать, — спохватился Ферапонт Иванович, — что ему внушена отрицательная галлюцинация.

— Да кто же внушил ему?

—— Я, конечно. Кто же больше?

— Фу! Ничего не понимаю! — сказала недовольно Едена.

— Чего вы не понимаете? — спросил Капустин.

— Да как же — извозчик едет?

— Едет.

— Не спит?

— Не спит.

— С козел не падает?

— Нет.

— Так, откуда же тут внушение?

— У вас наивное представление о нем.

— Может быть. Объясните, — обиделась Елена.

— Видите ли, в чем дело. Нельзя связывать гипнотический сон с внушением. Можно внушить субъекту идею, представление какой угодно силы, вовсе не усыпляя его. Можно внушить и отрицательные галлюцинации без всякого усыпления. Я мог бы вас забросать фактами и научными доказательствами, но думаю, что вы мне и так поверите, тем более, что я сам перед вами в качестве живого доказательства.

— Хорошо, оставим это, — сказала Елена. — Но во всем этом имеются другие обстоятельства, совершенно невероятные.

— Какие?

— Вы говорите, что вас никто не видит, потому что вы внушаете всем отрицательную галлюцинацию. Я допускаю, что вы сейчас внушили ее мне, потому что сидите рядом и давно здесь находитесь, но внушить каждому встречному, да еще на расстоянии, это уж, извините, похоже на вымысел.

— Эх, Елена, Елена, как вы отстали! — огорченно промолвил Ферапонт Иванович.

— Не знаю, может быть и отстала, — сказала она.

— Нет! — воскликнул Ферапонт Иванович. — Вы, Елена, настолько закоснели в вашем вульгарном, именно вульгарном, а не научном материализме, что я прошу вашего разрешения прочитать вам небольшую лекцию. Согласны?

— Ну, конечно. Почему вы еще спрашиваете?

— Вы считаете, что телепатия невозможна?

— Нет. Мне кажется это ненаучным: передача мысли на расстояние, — что-то мистикой пахнет! — ответила Елена.

— Ага, мистикой... Ну, ладно, — сказал Ферапонт Иванович. — Тогда послушайте. Начну крыть вас самыми учеными авторитетами, которые ничего не видели мистического и невозможного в передаче мысли из одного мозга в другой, а объясняли это вполне материалистически. Вот вам Америка: профессор химии Пенсильванского университета Роберт Гер, профессор Национальной академии — Менс, профессор Гарвардского университета — Джемс. Англия: гениальный физик и химик Крукс, ученик Дарвина — Уоллес, физик Варлей, анатом и физиолог Мейо, астроном Геггинс, профессор физики Дублинского университета — Баррет, профессор химии Эдинбургского университета — Грегори, профессор математики Лондонского университета Демморган, профессор Кембриджского университета —Седж-вик, профессор физики Ливерпульского университета — Оливер Лодж. Теперь — Германия, — продолжал Ферапоит Иванович, переводя дух. — Профессор физики и астрономии Лейпцигского университета — Цельнер, затем — Шейбнер и Фехнер, профессор физики Геттингентского университета Вебер, профессора: Фихте, Гофман, Ульрици,

Дю-Прель. Италия: знаменитый криминалист и психиатр Ломброзо, не менее знаменитый астроном Скиапарелли. Франция...

— Довольно, хватит! — взмолилась Елена.

— Ну, ладно, — рассмеялся Ферапонт Иванович. — А то бы я вам из русских кое-кого назвал. Ну, хотя бы — Бутлеров, Вагнер, Остроградский и, наконец, последнее время — Бехтерев. Как видите, все это далеко не мистики, а авторитетнейшие ученые. Правда, прием этот с авторитетами немножко нечестный, однако,

на подобных вам скептиков это действует в роде тяжелой артиллерии.

— Ладно, подействовало. Но только как же они себе представляют эту передачу мысли?

— О! — вскричал Ферапонт Иванович. — Если бы я вздумал вам, Елена, рассказывать все гипотезы относительно этого, то и до утра бы вам спать не дал. Это совершенно немыслимо! Тут и «магнетический флюид Месмера», и «нервный эфир» Гмелена, Бюрдаха и Поссавана и открафт — «одическая сила» Рейхенбаха... Это только у древних и старых авторов, а если взять новое время, то Карпентер признает существование нервной энергии, на которую он смотрит, как на особый вид физической энергии. Этого же взгляда придерживается Гартман. Ноуэлье — тот обясняет передачу мыслей «мозговыми волнами», передаваемыми через эфир. Доктор Моделей признает существование специального «мысленосного эфира». Доктор Баретти уверяет, что из глаз и оконечностей пальцев излучается особая нервная сила, которая может даже отражаться зеркалами и преломляться в линзах. Доктор Охорович, изобретатель гипноскопа, полагает, что мысль передается посредством электрической энергии. Он считает, что нервная энергия может переходить в электрическую. Такие выдающиеся гипнологи, как, например, Альрутц и наш Кантерев, держались чисто физической точки зрения на воздействие при гипнозе и считали, что на гипнотизируемого действует излучение особой энергии из тела гипнотизера. В последнее время некоторые находят объяснение в процессе ионизации, происходящем в нашей нервной системе... Словом всего, Елена, что придумано, даже не перечислишь. Меня лично удовлетворяет гипотеза Крукса, дополненная взглядами Фехнера. Не знаю, может быть, объяснения Крукса понравились мне потому, что, следуя путем его рассуждений, я уже совершил одно открытие, которое... Впрочем ладно. Изложу вам, значит, точку зрения Крукса. Дело в том, что в телах твердых, в жидкостях и в газах, а также в эфире, который проникает собою все тела, происходят беспрестанные колебания и вибрации. Эти колебания сообщаются и живым существам. Если возьмем за исходную точку маятник, отбивающий секунды, то, удваивая последовательно число ударов в секунду, мы получим в первой степени два колебания в секунду, во второй — четыре, в третьей — восемь, потом шестнадцать и т. д. Когда мы получим 32 колебания в секунду, то здесь вступим в область, где колебания атмосферы являются нам в форме звука. Но дальше — при 32,768 колебаниях мы получим предел звука. Мы ничего не будем слышать. Наконец, в 35 степени мы получим электрические лучи. Здесь колебания

совершаются уже не в грубой среде, а в тончайшем эфире. Далее мы доходим уже до многих миллиардов колебаний в секунду. Эти миллиарды колебаний дадут нам лучи тепловые, световые и химические. Затем между 52 и 61 степенью мы имеем, по-видимому, лучи Рентгена. Цифры эти трудно выговорить, они издеваются над человеческой фантазией. Не угодно ли вам записать в назидание хотя бы одну цифру, которая уцелела у меня в памяти?

Елена нашарила в пальто своем, постланном на скамейке, карандаш и блокнот.

— Только здесь не видно будет — темно, — сказала она.

— Ну, хорошо. Я на минуту открою дверь в залу, — сказал Ферапонт Иванович. И Елена увидела, как дверь сама собой приоткрылась.

— Ну, запишите, — сказал невидимый, снова присаживаясь на скамью рядом с Еленой. — Валяйте! Только вдоль листика, да помельче, а то места не хватит, — смеясь предупредил ее Ферапонт Иванович и тихим голосом стал диктовать. Елена записывала.

Когда она кончила и взглянула на листок, то чуть не ахнула, — там стояло: 2305763009213693952.

— Ну, вот, видите — цифры! Какая тут мистика?!.. — посмеивался невидимый Ферапонт Иванович.

— Однако, давайте дальше, — сказал он, переставая смеяться. — К каким же выводам приходит господин Крукс? А вот к каким. Выше этих рентгеновских лучей, которые, как мы видели, выражаются многими миллиардами, существуют колебания еще более быстрые, о которых мы уже ровно ничего не знаем. По этому поводу Крукс так и заявляет, что мы-де должны признаться, что являемся полными невеждами в «мировом хозяйстве». Лучи, соседние с 62 степенью, не преломляются, не отражаются и не поляризуются, — говорит Крукс. Они проходят через все тела. Поэтому Крукс и говорит дальше следующее: «Мне кажется, — это его слова, — что подобными лучами возможна передача мысли. С некоторыми допущениями мы найдем здесь ключ к многим тайнам психологии». Дальше он продолжает таким образом. Допустим, дескать, что эти лучи могут проникать в мозг и действовать на некоторый нервный центр. Вообразим, что мозг содержит центр, действующий этими лучами, как голосовые связки действуют звуковыми колебаниями (в обоих случаях повелевает рассудок!). Этот центр посылает лучи со скоростью света, и они производят впечатление на воспринимающий центр другого мозга. Таким образом, по Круксу, выходит, что некоторые таинственные явления человеческой

психики: передача мыслей, внушение на расстоянии входят теперь в область научных законов, и мы можем ими пользоваться, и никакой тут мистики нет.

Сенситивом, т. е. чувствительным субъектом, будет тот, у которого сильнее будет воспринимающий телепатический узел в мозгу. Это может зависеть, по мнению Крукса, от практики, от психической тренировки... Вот как, товарищ Елена! — закончил Ферапонт Иванович.

Елена долго молчала.

— Слушайте, — у меня даже голова болит от всего этого, — сказала она тихо.

— Да...

Есть много, друг Горацио, на свете,

Чего не снилось нашим мудрецам! — продекламировал Ферапонт Иванович, и вслед за этим Елена почувствовала его ладонь на своем колене. Она отстранила его руку.

— Перестаньте! Как вам это не идет! Только что говорили о таких высоких материях и вдруг!?.. А еще — невидимка!

-— Гм... А это, по-вашему, низкая материя? — несколько смущенно возразил Ферапонт Иванович. — Касательно же того, что я —невидимка...

— Довольно! — решительно сказала Елена. — Эти ваши разговоры для меня совершенно не интересны. Или отвечайте мне на вопросы, которые меня интересуют, или... убирайтесь.

— Что вы так?!.. — укоризненно и тихо произнес невидимый. — Давайте, спрашивайте.

— Вы вот сказали, что на любом расстоянии можно передать в чужой мозг свою идею и вызвать даже в нем положительную и отрицательную галлюцинацию. Я еще представлю, что на одного-другого вы можете подействовать своими «мозговыми волнами», но вас, ведь, решительно никто не замечает!.. Как это вы во все стороны внушаете одно и то же?

— Физику, физику забыли, товарищ Елена! — воскликнул Ферапонт Иванович. — Разве не помните, что звуковые и световые волны распространяются во все стороны? Волны неизвестной природы, которым Крукс приписывает передачу мысли, тоже распространяются от мозга во все стороны. Каждый волевой акт напоминает падение в воду камня, от которого во все стороны идут круги, достигая берегов. В безбрежной вселенной ничто не мешает этим «кругам» распространяться до бесконечности... В этом месте я не согласен с теми, кто считает, что «волны» эти электрической природы. Это ерундя. Колебания этих волн во много раз быстрее, чем даже колебания световых. Так. что, например, если я внушаю что-нибудь человеку, находящемуся в

Нью-Йорке, то момент получения его мозгом моего внушения совпадает с моментом отправки.

— А можно регулировать дальность внушения? — спросила Елена.

— Можно. Дальность действия своей мысли человек устанавливает внутри себя. Это определяется степенью того напряжения, которое он вкладывает в это. «Хочу, чтобы меня не воспринимали все люди, которые находятся в окружности, ну, скажем радиусом в три версты. Хочу, чтобы все люди, вошедшие в эту зону, испытывали по отношению ко мне отрицательную галлюцинацию, т. е., чтобы я для них был не видим!» — эту идею, это хотенье я утверждаю в себе со всей силой, на которую я способен. И сам начинаю галлюцинировать. Я чувствую и веду себя, как невидимый... И, как видите, неудачи я не имел! — сказал Ферапонт Иванович.

— Как это все-таки не похоже на жизнь! — вздохнула Елена. — Неужели этого еще кто-нибудь достиг?!.

Ферапонт Иванович расхохотался.

— Вы слишком льстите мне, Елена, — сказал он, — если предполагаете, что за тысячи лет я первый додумался до этого. Одна из школ индусской философии, так называемые йоги, за тысячи лет до нас развили в себе эту способность и владеют ею посейчас.

— Да как же они достигли этого? — удивилась Елена. — Вы, вот, изучили физику, химию, а они этого ничего не знали.

— Скажите, а вы, когда разговариваете с кем-нибудь но телефону, знаете, как телефон устроен? А когда вы разговариваете, слушаете, смотрите, двигаетесь, переваривaете пищу, вы разве представляете всю умопомрачительную путаницу нервных, физических и химических процессов, которые происходят в вашем организме?!.. Ведь нет, конечно. А совершаете все это ничуть не задумываясь. Так точно и они дошли до этой способности, не зная ни химии, ни физики, ни биологии.

Вот я вам приведу один пример массовой галлюцинации, которую внушает «необразованный» человек. Я вычитал об этом у одного из путешественников. Если даже мы усомнимся в подлинности именно этого факта, это ничуть не меняет дела. Я беру его только, как образец. А вообще говоря, подобных и равных этому фактов засвидетельствованы тысячи. Так вот слушайте. Перед вами площадь индийского города, на которой волнуется разноплеменная толпа. Все они смотрят на фокусы странствующего факира. Показав целый ряд этих фокусов, факир вдруг спрашивает зрителей, что они хотят получить в виде даров

неба. — «Персиков — кричит какой-то богатый англичанин в пробковом шлеме. Факир как будто смущен. — «В это время года это очень трудно», — говорит он, но, конечно, только ломается для виду. Через минуту все, кто находится на площади, видят, что мальчик — помощник факира — быстро начинает карабкаться по канату, брошенному в небо, и, наконец, исчезает из глаз. Факир ему кричит что-то, и вдруг оттуда начинают сыпаться персики, и все зрители начинают поднимать их и едят. Дальше путешественник сообщает, что, когда всю эту сцену сняли кинематографическим аппаратом, то обнаружилось, что факир спокойно сидит на месте, и никакого мальчика с ним нет.

— Эх, нам бы с вами такого факира! — вздохнула Елена.

— Да, — согласился Ферапонт Иванович. — Впрочем, для меня это не очень трудно. Я могу зайцем в любом вагоне первого класса проехать в Ташкент и поесть там персиков, и абрикосов, и ташкентских дынь и чего угодно, — сказал он.

— Да, вам-то что — вы невидимка! — позавидовала Елена . — Вам и без факира можно обойтись... Но, знаете, я до сих пор все-таки никогда не думала, что внушение может достигать такой силы. Мне даже один врач говорил, что никакой гипнотизер не может преодолеть в человеке его стойкие убеждения и предрассудки, что нравственному человеку почти невозможно внушить, чтобы он совершил что-нибудь безнравственное.

Ферапонт Иванович расхохотался.

— Да-да, я это знаю. Здесь мнения расходятся. Одни, как Буни или Льежуа, считают, что гипнотик в руках гипнотизера все равно, что палка в руке странника. Другие — Дельбеф, Жане, Деспля — уверяют именно в том, что вы сейчас сказали. Но я не понимаю этих господ. Они прут против фактов. Нельзя преодолеть силу нравственных устоев! Подумаешь! Да криминалистика достоверно знает такие случаи. Вот, например, один из них совсем недавний. Дело было в Германии. Некий инженер женился на очень богатой и красивой вдове — матери двух девочек-подростков. Они прожили полгода внешне вполне счастливо. Но вдруг совершенно неожиданно для всех жена инженера покончила самоубийством. Через несколько месяцев старшая из девочек лет четырнадцати застрелила младшую сестру и застрелилась сама. Вскрытие трупов обеих девочек установило факт их растления. По дневнику, который вела старшая, и по данным вскрытия трупов, создалась очень ясная картина преступления. В конце концов было установлено, что сама мать и ее дочери находились под гипнотическим влиянием инженера. Выход за него замуж и затем смерть этой женщины последовали, как результат внушения. В дальнейшем, пользуясь

им, преступник растлил обеих девочек и затем, желая сделаться единственным наследником своей жены, внушил ее старшей дочери мысль — убить младшую сестру и застрелиться самой... Вот. А они еще говорят!.. Да, наконец, больше того: история сектантских движений знает случаи такого безусловного подчинения целого коллектива воле какого-нибудь пророка, и при этом без всякого погружения в гипнотический сон, что не только нравственность, а и инстинкт самосохранения — все это отлетало к черту! Возьмите хотя бы массовое самосожжение раскольников. Или вот вам факт, о котором рассказывает Столь: в Англии некий чувственный фанатик Генри-Джемс-Прайс до того отуманил своих последователей, что имел возможность в основанном ими «храме любви» — «агапемоне» — при полном собрании верующих лишить невинности некую красивую мисс, причем он заранее объявил, что во имя бога сделает женою прекрасную деву и совершит это не в страхе и стыде, не в скрытом месте, а среди дня, при полном собрании верующих обоих полов. Невероятная церемония была исполнена в точности. Или еще такой же случай...

— Вот что, — перебила его Елена, — почему это вам приходят в голову все такие примеры, где под влиянием внушения совершаются преступления против половой нравственности? Разве других не бывает?

— Видите ли, Елена... — произнес Ферапонт Иванович как бы в некотором смущении. — Дело в том, что если я и упоминаю только об этом, то это происходит потому, что...

Дверь с треском раскрылась. На пороге, в накинутой на плечи шинели, стоял Кусков. Вид у него был грозный. Он сделал несколько быстрых шагов к скамейке, на которой сидела Елена, и вдруг растянулся на полу, очевидно, споткнувшись обо что-то.

— Что это ты мне в ноги кланяешься? — сдерживая смех, спросила Елена.

— Да черт его возьми, — споткнулся о какую-то палку, — проворчал подымаясь Кусков.

Эффект его грозного и внезапного появления был испорчен. Однако, он, остановившись перед Еленой, строго спросил ее:

— Ты с кем сейчас разговаривала?!..

— Ни с кем. Что тебе, приснилось, что ли?

— Вот что, товарищ Елена, ты мне ухо-то не крути! Я, конечно, на это дело плюю, но, все-таки, наш культшефский отряд амурами срамить не позволю, — грубо сказал Кусков, оглядывая комнату.

— Ты лучше проспись-ка, Гриша, — вставая со скамьи и напуская на себя презрительный и холодный вид, ответила Елена.

— Ты сам культшефство компрометируешь, если наклюкался где-то, а потом позволяешь себе так нахально врываться, да еще оскорбляешь. Сам, ведь, видишь, что никого здесь нет.

Кусков хорошо видел это. Он стоял ошарашенный.

— Черт с тобой в таком случае. Извини за беспокойство.

Он повернулся, вышел и зашагал к противоположному концу залы, где на полу, коллективно укрытые мешочным пологом, спали вповалку комсомольцы.

3 Исповедь. «Долой цензуру»

— Перестаньте смеяться! Это страшно неприятно, когда слышишь хохот и не можешь увидеть того, кто хохочет. Да и над чем вы смеетесь? — сказала Елена, обращаясь к Ферапонту Ивановичу.

— Ох, да как же не смеяться?!.. — воскликнул невидимый. — Ведь, как я здорово вашему приятелю ножку подставил, — так и растянулся плашмя! А вы еще тут — чего ты кланяешься? Ха-ха-ха!..

— Перестаньте!

— Ну, что ж, перестану, если вам неприятно. Вы, ведь, знаете, что я для вас...

— Хорошо, хорошо, — слыхала уже. Вы лучше расскажите мне кое-что другое.

— Что например?

— А вот меня интересует, что вас натолкнуло на мысль добиваться невидимости и каким путем вы пришли к ней.

— Словом — «как дошли вы до жизни такой?».

— Вот именно, — сказала Елена.

— Хорошо. Откровенно говоря, требования ваши чрезмерны. Я ни с кем решительно с тех пор, как сделался невидимкой, не откровенничал. Но... я совершенно серьезно говорю вам, что вы в моих глазах совсем особенная женщина, совсем не похожая на других. Я вверяю вам свои тайны и верю, что не окажусь Самсоном, а вы Далилою.

— Можете, быть спокойны.

— Ладно. Только, Елена, предупреждаю вас, что я должен начать издалека и рассказать вам кое-что из своей жизни. Иначе вы ничего не поймете. Вам не будет скучно?

— Ну, не знаю. Смотря но тому, как вы будете рассказывать.

— Увы! — вздохнул Ферапонт Иванович. — Тогда я заранее обречен. Я совсем не умею рассказывать.

— Ну, ладно, ладно, — рассмеялась Елена. — Давайте

рассказывайте, довольно тянуть.

Ферапонт Иванович прокашлялся и приступил к повествованию.

— Родился я и вырос, — начал он, — в некультурной, хотя и зажиточной семье деревенского лавочника. По-теперешнему, сказали бы, что отец мой был кулак. Воспитание мое, надо полагать, мало чем отличалось от воспитания крестьянских ребятишек вообще. Та же зыбка, тот же рожок с ржаной жвачкой, то же застращивание букой и побои впоследствии. Вообще, как видите, детство мое было довольно темное и безотрадное. Но если бы спросили меня, когда я в первые ощутил всю горечь своего бытия и враждебность жизни, то я определенно сказал бы: это был момент, когда меня оторвали от материнской груди. Нет, не оторвали, а заставили возненавидеть и отвернуться. Это еще хуже.

Вы не можете себе представить, какая гнусность, грубость и жестокость выпадает на долю деревенского ребенка в этот и без того трагический для маленького существа момент. Чего только не проделывают в таких случаях невежественные матери, пользуясь опытом старых баб. Все пускается в ход, чтобы ребенок возненавидел то, что всю прежнюю жизнь его до этого момента было для него единственным блаженством в этом суровом внешнем мире, которое заменяло ему утраченное тепло и уют материнской утробы.

Для того, чтобы скорее отлучить сосуна, деревенские матери смазывают сосок сажей, перцем, горчицей и подставляют в тот момент, когда ребенок хочет приложиться к груди, жесткую и колючую щетку. И вот несчастье: беспомощное создание, вместо теплого и нежного шара и ласкающего губы соска, из которого льется в крохотное тело сама жизнь, теплая, сладкая и питающая, натыкается вдруг своим вздернутым носиком на щетину щетки или обжигает горчицей нежнейшую слизистую оболочку своего рта.

В мою память крепко врезалось одно событие, связанное с отнятием от груди. Скорее всего я вообразил его уже впоследствии, по рассказам других. Однако, я как будто ясно вижу его перед собой. Я вижу ясно капли молока и крови, медленно ползущие по материнской груди из укушенного мною соска. Не помня себя от боли, мать с силой шлепает меня и бросает в зыбку.

Может быть, все это смешно для вас, но я рассказал вам сейчас самое тяжелое событие моей жизни.

Другое тяжелое событие, когда в первый раз и навсегда легла на мою жизнь тяжелая тень отца, заключалось в том, что

родители перестали класть меня с собой спать. Мне было тогда четыре года. Это изгнание в одинокую постель потрясло мою детскую душу. Я ревел, умолял, звал мать, протягивал свои руки в темноту... Я чувствовал, что она здесь, близко, мне было страшно одному, я хотел разжалобить ее.

Наконец, я словно помешался от крика. Я не мог остановить его, и мне уже было не больно кричать. Но я кричал без слез — они иссякли. Я слышал в темноте придушенные всхлипывания матери, слышал сердитый шепот отца. Ей было жалко меня, сердце не выдерживало, но отец не пускал ее ко мне: «Не надо его поважать».

На следующий день я лежал, как пласт, ни с кем не говорил, ничего не мог есть. Со мной сделалась «горячка». Призвали какую-то знахарку, она «спрыскивала с уголька» и говорила, что это все «от дурного глазу».

Второе, слишком памятное для меня, столкновение с моим могущественным врагом произошло, когда мне было десять лет. Отец застал меня за курением в бане и выпорол. Он зажал мою голову между ног, словно завинтил ее в тиски, мне было больно, но я не мог даже крикнуть, потому что щеки мои были сжаты, и губы выпячивались, словно у пескаря. Солдатское сукно его штанов раздирало мне кожу. С каждым ударом он увлекался все больше и больше этим занятием. Он осатанел. Через полчаса в баню прокралась моя мать и перенесла меня в дом. Укладывая меня в постель, мать заметила, что на подушку каплет кровь. Она осмотрела мою голову и увидела, что кровь эта из уха. Он надорвал мне мочку левого уха... У меня на всю жизнь остался рубец. Вот посмотрите.

— Вот чудак! — сказала Елена. — Да как же я посмотрю, когда вы невидимка?

— Тьфу ты! — спохватился Ферапонт Иванович. — Я, знаете ли, в разговоре забываю иногда. Ну, тогда пощупайте.

Невидимая рука взяла руку Елены и поднесла ее пальцы к невидимому уху. Елена ощутила рубец.

— После этого, — продолжал Ферапонт Иванович, — завидев отца, я вздрагивал. Этой поркой он бросил меня в когти онанизма. Время от 10 до 11 лет было для меня очень мучительным. Я переживал радость, что девчонки и женщины не считают еще меня за большого и ходят со мной купаться, но в то же время страх и стыд заставляли колотиться мое сердце и делать безразличные глаза, когда они начинали раздеваться.

Однажды мое появление из кустов к месту, где они купались, было встречено визгом. Это означало конец моего детства.

В 13 лет началось томление но женщине, то ослабевающее, то

становившееся сильнее. У нас была стряпка Аграфена — рыхлая, добродушная, белобрысая баба лет сорока. Она меня очень любила и всегда жалела меня, когда отец меня бил. Поэтому я всегда после экзекуции укрывался у нее на кухне в углу, где на лавке лежала груда какого-то тряпья.

Однажды ночью я поднялся с постели, чтобы выйти на улицу. Родители мои спали. На кухне горела прикрученная лампа: стряпка должна была еще встать, чтобы подмесить квашню. Храпенье Аграфены доносилось с печи. Там стояли и сохли мои пимы. Я полез за ними.

Меня опахнуло печным теплом, запахом горячего кирпича и войлока. Страшно хорошо было стоять босыми ногами на стеженом толстом одеяле, сквозь которое, делаясь постепенно нестерпимым, доходил печной жар. На этом одеяле спала Аграфена. Она лежала на спине, раскинувшись от жары и слегка открыв рот. Грубая холстяная ее рубашка сбилась, оголив белые полные ноги.

Сердце мое заколотилось. Мне сделалось трудно дышать. Я начал дышать ртом. Губы мои пересохли. Я замер в испуге: мне казалось, что от стука моего сердца и от шероховатого дыханья пересохшим ртом Аграфена сейчас проснется. Но она лежала все так же спокойно и спокойно и ровно дышала. Я осторожно опустился на горячее одеяло возле нее. Мое лицо было совсем близко от ее могучего раздавшегося тела. От него тоже шли широкие, ясно ощутимые волны могучей материнской теплоты.

Я различал мелкие-мелкие росинки пота, выступившие в ложбинке между полными ее грудями возле шнурка крестика. Мне не верилось, не верилось, что Аграфена не чувствует, что я смотрю на нее.

Было мгновение, когда я каждой клеточкой своего тела знал, что если я лягу возле нее и прижмусь к ней, то она не прогонит меня, и все-таки я ушел. Ушел из-за гнусного ребячьего страха перед отцом. Может быть, это был не только страх перед отцом, а вообще тот темный бессознательный трепет перед запретным, тот страшный груз, который с детских лет отягощает душу каждого из нас.

Мне это дорого стоило. Во мне как будто сломалось что-то.

В эту ночь я долго не мог уснуть. И, уснувши, увидел сон об Аграфене. Она всходила на крылечко, неся в руках беремя дров. Ей было тяжело. Одно полено упало. Я подбежал и подал его ей. Ее искаженное надсадой лицо оскалилось в мою сторону.

— Мне тяжело. Неси ты! — крикнула она.

Я проснулся...

Ферапонт Иванович оборвал свой рассказ.

— Ну, что же вы? — спросила Елена.

— Я... да так... думаю просто... Может быть, вам надоело меня слушать? — спросил он.

— Нет.

— Тогда хорошо... Потом, значит, была гимназия... Древнегреческий и латинский язык, частый онанизм и редкие и несмелые вначале визиты к проституткам... Университет внес мало изменений, — шире, пожалуй, стал размах. Нечего было говорить, что мне было не до науки. Временами я вдруг ясно осознавал, что иду к гибели, гнию заживо, но сейчас же старался не думать об этом.

Я погиб бы, конечно, если бы не благодетельное потрясение одного утра. Обыкновенно, говоря о подобных внезапных «прозрениях» и «исцелениях», бывшие развратники и забулдыги любят рассказывать о каком-нибудь особенном происшествии: перевернуло, дескать, всю душу и тому подобное. Со мной ничего такого не было. А просто проснулся на следующее после безобразий утро, — голова трещит, во рту скверно, на душе слякоть, слякоть и какое-то ясное ощущение «утечки» жизни. Иначе не могу выразиться. Словом, событий чрезвычайных никаких, а перевернуло крепко!

С этого утра я сказал себе — стоп!

Через полгода этот перелом сказался тем, что коллеги стали смеяться над моим аскетизмом, а некоторые из профессоров заметно начали выделять меня из числа прочих студентов. Я перешел в разряд «подающих большие надежды». Но я не только подавал их, но и оправдывал. Предварительное сообщение, которое я сделал на заседании невропатологов и психиатров касательно своей работы о гипнозе вызвало, как говорится, целую бурю. В это время я окончательно уклонился в область психиатрии.

Мне долго будут памятны ощущения этой «запойной» работы. Я сгорал в ней, как прежде сгорал в разврате. Нервное вещество мое сгорало, как магний, подобно ему выхватывая из мрака самые глубокие и темные подвалы человеческой личности.

О женщинах в ту пору я просто не думал. Тело мне казалось легким и пустым, лишенным вожделений. Постепенно я стал убеждаться, что недоверие ко мне, как к выскочке, уступает место признанию и уважению. Наконец, будучи на четвертом курсе, я женился на дочери профессора и этим окончательно сделался своим в замкнутой ученой касте.

— Ваша жена была красивая? — спросила Елена.

— Нет... Она была чрезмерно худа и от нее всегда немного попахивало нафталином.

— Странно... Тогда неужели это было только но расчету?

— Нет. Здесь имело значение «духовное сродство», то, например, что она интересовалась моими работами. И, наконец, она была дочерью профессора, и это тоже придавало ей в моих глазах некоторое очарование... Впрочем, можете считать, пожалуй, что это был расчет, но затаившийся в бессознательной сфере, — помолчав, добавил Ферапонт Иванович. — Ну, так вот, — продолжал он, — я, стало быть, женился...

— А где теперь ваша жена? — снова перебила его Елена.

— Она... здесь. Это та воспитательница, с которой вы разговаривали на дворе, когда приехали.

— Да как же это?

— А очень просто. Я, ведь, перед тем, как прийти к своему открытию, был воспитателем в этом самом доме.

— Час от часу не легче, — пробормотала Елена. — Ну, а ваша жена знает, что вы невидимка?

— Нет. Она считает, что я утонул.

— Утонули?.. Ну, знаете, это просто на сказку похоже. Да как же все это произошло?

— Опять-таки не слишком сложно, — ответил Ферапонт Иванович. — Когда я убедился, что способность вызывать в окружающих людях отрицательную галлюцинацию настолько укрепилась во мне, что сделалась как бы автоматической, я симулировал самоубийство.

Решив в один из вечеров, что с сего числа я делаюсь невидимкой, я перед утром пошел на реку к проруби, оставил в кабинете записку, что я покончил самоубийством. До проруби следы мои можно было еще различить, а на льду они быстро терялись. Ввиду моей записки не оставалось ни малейшего сомнения, что я утопился.

— Неужели жена ваша ни разу ни о чем не догадывалась? — спросила Елена.

— Нет, совсем-то она не догадывалась, а кое-что однажды заподозрила. Это было как раз в то время, когда я производил предварительные опыты с мышами. Я внушал мышам, которых в моем кабинете было достаточно, отрицательную галлюцинацию. Мне это удалось. Я стал для них невидимым, и они безбоязненно поедали мой завтрак, хотя я сидел тут же за столом. В это время как раз вошла моя жена и увидела эту сцену. Это обстоятельство заставило меня еще больше ускорить психическую работу, и вскоре я «утонул»...

— Ну, а зачем же вы оказались снова здесь? Или вы так и не уходили отсюда? — спросила Елена.

— Что вы! Я пространствовал достаточно, — ответил Ферапонт

Иванович. — Да и глупо было бы добиться невидимости и сидеть здесь.

Но я временно должен был скрыться сюда, потому что ваше видимое общество доставляло мне одни неприятности. Меня прямо-таки затравили.

— Позвольте! — изумилась Елена. — Да как же вас могли затравить, когда вы— невидимка?

— А вот нашлось средство, — вздохнул Ферапонт Иванович. — Я забыл, что кроме зрения существует обоняние...

— Не понимаю, — сказала Елена.

— Не понимаете, и не надо, — ответил Ферапонт Иванович. — Я вам и так много разболтал.

— Ах, вот как! — обиделась Елена. — Можете оставить ваш секрет при себе. Меня в конце концов гораздо больше интересует, ради чего вы сделались невидимкой, а не каким образом. Может быть, это вас не затруднит?..

— Вот странная вы какая, — огорчился Ферапонт Иванович. — Да я ведь сам начал вам об этом рассказывать, а вы перебили меня. Я как раз дошел до своей женитьбы...

— Уж не из-за жены ли вы сделались невидимкой? — спросила Елена,

— А что же вы смеетесь? — серьезно возразил Ферапонт Иванович. — Конечно, не только из-за нее, но все-таки и она среди прочих тюремщиков моего «я» также имела свое влияние. Подумайте, Елена, мне, который, подобно Фараону, хотел быть «супругом всех жен Египта», закон и общество и привитая с детства мораль предписывали целую жизнь любить эту женщину, пахнувшую нафталином. Ерунда! — рано или поздно должно было прийти то время. когда глубочайшие пучины моей подсознательной личности должны были проявить себя. И это время пришло.

В один из моментов глубочайшего самоанализа мне вдруг сделалось ясно, что вся моя научная, «кипучая», плодотворная, всеми восхваляемая деятельность была лишь презренным паразитом на моей неизрасходованной половой энергии... Елена, я знаю, это дико вам слышать. Вы ничего, возможно, не знаете о том, что в каждом человеке под ничтожной пленкой сознания колышется неисследимый и темный океан вожделений.

Не только родные, друзья и знакомые, но и сам-то человек не знает, не смеет знать, что скрывается в нем под этой жалкой волнующейся пленкой, которую принято считать подлинной личностью человека. Его обычное «дневное» сознание страшится заглянуть в преисподнюю. И только ночью во сне чудовище подсознательного психического океана показывает свой

страшный, но до неузнаваемости искаженный облик. Человек, часто сам не понимая и не сознавая этого, видит сны, в которых он с бешенством срывает узду всех общественных запретов. Наши сны — это чудовищные мистерии. Во сне мы бываем убийцами, насильниками, грабителями. Но все эти вожделения предстают в нашем сонном сознании в таких искаженных образах, что мы невинно продолжаем жить дальше, считая себя праведниками. Кто же это, какая страшная сила разорвала личность человека и всю ее огромную массу загнала в преисподнюю, в тартар, в аид, в царство Плутона?!.. Какая сила повелела считать ничтожные верхние слои личности человеческой за всю личность? Эта сила называется законами экономического развития. Какими способами и приспособлениями осуществилось это? — с помощью, так называемой, «психической цензуры». Кто живой творец этой цензуры? — родители, церковь, общество, государство!..

Для чего и почему это сделано? А вот для чего и почему. Я буду говорить вам словами величайшего знатока этой психической преисподней, который помог мне окончательно исследовать ее. Общество, говорит он, дало социальный приказ подчинить индивидуальной воле половое стремление. В противном случае это влечение прорвало бы все преграды, сокрушило бы все плотины и смело бы возведенное с таким трудом величественное здание культуры. Основной мотив человеческого общества оказывается в конечном счете чисто экономическим; оно хочет ограничить число своих членов и отклонит их энергию от половых переживаний в сторону труда. Вот что утверждает этот гениальный ученый — это солнце современной психиатрии. Но они все говорят то же самое. Другой мыслитель выразился просто и грубо. Он говорит, что половую энергию можно заставить ходить за плугом и колоть дрова. Когда Ньютона, который всю жизнь оставался девственником, спросили, почему он не женится, то Ньютон ответил, что существует более достойное применение человеческой энергии, чем производство себе подобных... «Запружены реки мои!» — восклицает Уитмэн. «Их должно запрудить!» — сурово отвечает общество.

Представим, Елена, что каждый человек, — это колоссальный океанский пароход, а общество или государство — хозяин всех пароходов. Верхние палубы парохода — это царство неслыханной роскоши. Здесь можно встретить решительно все, что дало творчество человеческого гения. Но, скажите, где подлинная жизнь, где могучее сердце парохода — двигатель его? Оно в трюме, Елена! Там — машины, там уголь — этот источник света, тепла и движения для всей этой махины.

И вот представьте, что кочегары вдруг обезумели и начинают бессмысленно сжигать уголь, опустошая трюмы. Верхним палубам грозит тьма и холод. Пароходу грозит гибель. Разве не крикнет хозяин этим кочегарам: безумцы, что бы делаете! Разве не закуют их в цепи и не посадят в тюрьму?!..

И вот я — один из таких кочегаров — понял это хорошо. Поняли это и многие другие кочегары, поняли и один невольно, а другой с энтузиазмом подчинились воле хозяина. И только я — единственный из постигших тайну превращения половой энергии в энергию творческую, полезную для общества, — ожесточился, озлобился и кричу обществу и государству:

— Пошли вы к чертовой матери! Вы говорите, что растормозить половую энергию, я сгорю, как уголь в кислороде, — пускай! Вы грозите, что упадет уровень моего интеллекта, что я растеряю все культурные сокровища, накопленные за счет обузданной половой энергии, и превращусь в безнравственное тупое чудовище, — пожалуйста, я не боюсь этого! Пускай это чудовище разрастается и пожирает мое дневное сознательное «я»! Мне теперь известно, что это чудовище есть подлинная моя сущность. Пусть живет оно полной жизнью. Долой «цензуру»! К черту узду! Да здравствует необузданная жизнь моих подсознательных влечений! Ведь это же я, я настоящий!..

Голос Ферапонта Ивановича перешел в крик.

— Чего вы так кричите?!.. — сказала с беспокойством Елена. — Опять кто-нибудь придет...

— К черту! — запальчиво возразил Ферапонт Иванович, но продолжал разговор более тихим и спокойным голосом.

— Итак, я объявил войну за свободу своей бессознательной личности, за все ее вожделения против тех, кто лезет ко мне. чтобы накинуть узду. Я возненавидел отца, церковь и государство. Я проклял человеческий коллектив — коллектив взаимных тюремщиков и арестантов. Я стал думать, как мне сорвать все запреты, раздробить все скрижали и все-таки остаться безнаказанным.

И вот народное творчество — подсознательное вожделение всех народов, — претворенное в сказки и мифы, указало мне верный путь...

Елена, разве вас не поражает, что у каждого народа есть сказки о шапке-невидимке? Вспомните наши сказки про Иванушку, сказки Шехерезады, наконец, Зигфрида! Ведь это же прямо указывает, что коллективное подсознание мучилось запретами, которые легли на его половые влечения, и находило им выход в фантазии. А разве каждый человек хоть раз в жизни не думал: ух, если бы я был невидимкою, и показал бы я тогда всем,

где раки зимуют?!.. Уверяю вас, что каждый, решительно каждый мечтал о шапке-невидимке, да только не хватало соображения изобрести ее. Народная фантазия была груба и образна, но все-таки ближе намекнула на то, как можно сделаться невидимым, чем невежественная фантазия Уэльса или Джека Лондона.

Надо уметь расшифровывать!

Мифы и сказки, говоря о шапке-невидимке, этим самым как бы намекают, что секрет невидимости надо искать именно в голове, в мозгу человека... Слава мне, жалкому и незаметному Ферапонту Ивановичу Капустину! Я осуществил великую мечту всех народов. Первая мечта — ковер-самолет — осуществилась в аэропланах, а я нашел шапку-невидимку! И при этом, Елена, каждый человек, следуя по моему пути, может добиться невидимости. Тренируй свою волю, доводи свои образы до реальности плоти, галлюцинируй сам и заставляй галлюцинировать других, и рано или поздно наступит время, когда в твоем мозгу разовьется под влиянием тренировки мощный телепатический узел, и ты будешь передавать в другие мозги отрицательную галлюцинацию, т. е. сделаешься невидимым... Вот мое открытие.

И представьте себе, до чего изобретательна судьба: ведь этим своим открытием я обязан тем, против кого боролся, — я обязан большевикам. Они меня толкнули на это.

— Да как же это вышло?!..

— А вот как. В то время, когда колчаковская армия погибала, и опасность надвигалась на Омск, я мучительно искал выхода и спасения. Я никогда не сомневался в своей гениальности, и вот мне все чаще и чаще стала приходить в голову одна мысль: почему Архимед мог защищать своими изобретениями родные Сиракузы, а я не могу защитить Омска?!.. Эта мысль преследовала меня до тех пор, пока я не совершил открытия, которое действительно могло изменить судьбу фронта. В то время я работал уже с целью добиться невидимости. И вдруг меня «осенило», т. е. научно выражаясь, подсознание мое выбросило мне изумительную идею. Те же самые рассуждения, которыми я шел к невидимости, давали мне полную возможность создать дивизии и корпуса «ночных бойцов», т. е. таких, которые ночью видели бы, как другие видят днем. И не спрятал своего открытия под спуд. Я поделился с ним, с вашим покойным мужем — Георгием Александровичем Яхонтовым — и знаю, да и в то время знал, что мой благородный друг приступил уже к выполнению моего плана, но потом... все провалилось к черту.

— Что же произошло? — дрогнувшим голосом спросила Елена, не глядя в сторону Ферапонта Ивановича.

— Я и сам не знаю, Елена, — вздохнул он. — Я долго ломал над этим голову, да так и не придумал ничего. Знаю только, что весь мой замысел, с таким трудом осуществленный Яхонтовым, погиб бесследно. Однако, не думайте, что я сдался. Я решил бороться с большевиками в одиночку и удесятерил свою работу в поисках «шапки-невидимки». Я ненавидел коммунистов. Они мешали мне дышать. Ведь вы подумайте, Елена, если то, старое общество, обуздало несчастного индивида, то ведь господа коммунисты закрутили поводья так, что кровь течет из рассеченной губы несчастного индивида. Не смей того, не трогай другого, живи ради коллектива!.. Да уверяю вас, что скоро, когда они вгонят нас в социализм, то обязательно возьмут под свою опеку половую жизнь человека. Вот что, скажут, дорогой товарищ, чтобы до 40 лет ты и думать не смел о женщине! Сублимируй, пожалуйста свою половую энергию в высшие формы. Увеличь за ее счет умственную производительность: твори, созидай, служи коллективу. А вот, когда будет тебе сорок лет и увидим мы, т. е. общество, что из тебя Ньютона не получится, тогда пожалуйста, расходуй себя на любовь и производи потомство: авось в потомстве своем дашь обществу Ньютона... Вот что, Елена, будет. Вот к чему коммунисты стремятся. Как же я мог не возненавидеть их, не объявить им беспощадной войны?!..

— Вы и теперь также ненавидите коммунистов? — спросила Елена.

— Я?.. Нет. — Не вдруг ответил Ферапонт Иванович. — Теперь, когда мне не страшна никакая узда, меня не интересует борьба с ними. Зачем мне это? Я увлечен теперь другим: я прислушиваюсь к голосам своего подсознания и выполняю все его требования. Меня теперь очень интересует, что будет, если я разнуздаюсь совсем, если я выпущу на свободу всех обитателей своей психической преисподней?

Разве мне страшен кто-нибудь?!.. Захочу и завтра же заменю советскую власть другой. Я — повелитель мира! Елена, вы слышите?!.. Елена, я счастлив безмерно, я могуч, как Демон, но мне не хватает Тамары. Елена, будьте моей Тамарой! Я, подобно Демону, могу воскликнуть: «И будешь ты царицей мира!..». И выполню свое обещание. Я научу вас, как сделаться невидимой... Елена, я давно полюбил вас, будьте моей!..

И Елена почувствовала, как Ферапонт Иванович опустился перед ней на колени, и его невидимые руки обхватили ее за талию. Она не оттолкнула его.

— Скажите, — проговорила она, кладя свою руку на его лысую голову, — ваши дети тоже будут невидимыми?..

— Да, Елена! — воскликнул он убежденно. — Я твердо

уверен в этом. За время моей психической перестройки вся моя нервная субстанция потерпела столь сильные молекулярные пертурбации, что «гены невидимости» должны передаться моему потомству. Утверждают, что приобретенные родителями признаки не передаются детям, но это не подходит к данному случаю.

Относительно физической стороны это совершенно правильно. Искусственные уродства тела, совершенные даже из поколения в поколение, несмотря на это, не передаются потомству. Так, например, фокстерьерам обрубают хвосты, и все-таки каждый новый фокс-терьер рождается с необрубленным хвостом. Но психическое влияние на половую клетку бесспорно и могущественно. Психика способна изменить каким-то таинственным образом «идиоплазму», хроматин семенной нити. Отец, зачавший ребенка в пьяном виде, может наградить его душевной болезнью. Разве это не доказательство? Я бы мог привести вам сотни доказательств... Нет, Елена, я твердо убежден, что мое потомство будет невидимым. Елена, не отталкивайте меня!

Невидимый совершенно напрасно так горячо просил ее об этом: она и без того не думала его отталкивать...

Наутро Елена, проснувшись, с удивлением увидела себя лежавшей на полу. Подстилкой служило пальто, но не ее, а чье-то чужое. Елена окончательно пришла в себя. За своей спиной она чувствовала чье-то тело. Она обернулась.

Спиною к ней, скрючившись, лежал возле нес человек в сером костюме и мирно похрапывал. Елена увидела грязноватую лысину на его затылке. Сильное отвращение охватило ее.

Она грубо рванула его за плечо. Он проснулся. Некоторое время, приподняв голову, он бессмысленно глядел на нее и вдруг... он исчез. Рядом с Еленой никого не было.

Она вскочила.

Через минуту из воздуха послышался заспанный голос Ферапонта Ивановича:

— Елена, что с вами случилось?!.. Почему вы так грубо со мной обошлись? Неужели после всего, что произошло между нами... Елена, я так дорожу вашим чувством.

Он обнял ее плечи. Елена вырвалась.

— Не смейте! — крикнула она злобно и брезгливо. — Если бы вы дорожили моим чувством, вы всегда бы оставались невидимым и не посмели бы показать мне свою отвратительную лысину.

— Елена! — с отчаянием в голосе воскликнул невидимый. — Не говорите так!.. Ну, что я поделаю?!.. Я сам знаю, что я некрасив, но ведь я уснул... Нечаянно уснул возле вас. А когда я

засыпаю, затихает работа моего мозга, психические процессы диссоциируются, и я становлюсь на это время видимым... Этого никак нельзя устранить, никак! — перпетуум мобиле невозможно... Но неужели, Елена, вы отдались мне, не полюбив меня?!.. Неужели...

— Вы дурак! — перебила его Елена. — Неужели вы с вашей тщедушной фигуркой, с вашей отвратительной лысиной могли подумать, что вас может полюбить хоть какая-нибудь женщина?!.. Хотите знать, ради чего я отдалась вам? — Слушайте: я хочу иметь от вас невидимого ребенка! Вы — гнилье, контрреволюционер, ваша душа — грязное «индивидуальное» болото. Вас не перевоспитать. Но, благодаря вам, я буду иметь невидимку-сына. Он не будет похож на своего отца и заниматься всевозможными пакостями. Я воспитаю его, как должно. И когда он вырастет — мой невидимый сын — он один без всяких армий, без единой капли крови совершит всемирную революцию!.. Слышали?!.. А теперь убирайтесь к черту! — крикнула с пафосом Елена, указывая на дверь.

Ферапонт Иванович долго не отвечал ей. Она ждала приставаний, укоров, возмущения. Ничего этого не последовало.

Дверь распахнулась.

«Неужели он ушел?!..» — подумала Елена, но в это время с порога послышался насмешливый голос:

— Всего хорошего, м-ль, прощайте! Я очень доволен, что каждый из нас получил от этой встречи то, чего добивался.

4 Чет-нечет

Редкая омская дама не знает Акулины Петровны. Это — добрая и почтенная вдова,, по профессии акушерка. У нее свой дом недалеко от Казачьего базара. Говорят некоторые, что этот дом построен на абортах. Однако, справедливость требует упомянуть, что и в случаях несостоявшегося аборта, как один врач назвал роды, женщины также охотно к ней обращаются.

Акулина Петровна всегда готова — в ночь и в полночь. Ее рабочий чемоданчик всегда у нее под рукой. Когда она спит, когда отдыхает — прямо-таки неизвестно. Дородная ее фигура с чемоданчиком успела уже примелькаться старожилам.

В один из весенних вечеров нервный двухкратный звонок потревожил Акулину Петровну за чаем. Это было в порядке вещей.

— Открой! — крикнула она горничной и, оставив стакан, вышла из-за стола.

В приемную вошла хорошо одетая полная дама. Она казалась смущенной и не решалась заговорить первая. Это тоже было в порядке вещей.

Акушерка взяла на себя инициативу.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она посетительнице, приветливо улыбаясь. — Вам, вероятно...

Но тут же Акулине Петровне пришлось изменить свой вопрос, когда она как следует рассмотрела незнакомку.

— Вы пришли рожать? — спросила она менее приветливо.

— Да.

— Что же у вас — схватки ?

— Да, да. Я боюсь, что мне скоро придется родить, — взволнованным голосом ответила посетительница.

— Вы — первородка? — закуривая папиросу, спросила Акулина Петровна.

— То есть? Да, да, в первый раз.

— А когда начались у вас боли?

— Сегодня утром.

— Ну, тогда присядьте, пожалуйста, и подождите. Я не только чаю успею напиться, но и выспаться, — смеясь заявила акушерка. — Нет, кроме шуток, — добавила она, увидев, что посетительница обескуражена, — вы можете не беспокоиться: роды еще не скоро. Посидите, пожалуйста. — Она вышла.

Елена от нечего делать занялась просматриванием затасканных журналов, лежавших на круглом столике. Этого занятия ей хватило ненадолго, а читать она не могла. Взгляд ее переходил с предмета на предмет. Она нервно играла коробкой спичек, лежавшей на столе. Вдруг она вздрогнула, взглянула, плотно ли затворена дверь, и словно воришка, с оглядкой по сторонам, захватила горсть спичек и быстро зажала их в кулак.

— Нечет, — прошептала она, бросая спички на страницы открытого журнала и нетерпеливо принимаясь считать.

Спичек оказалось пятнадцать. Лицо Елены озарилось радостью: она угадала — нечет. Значит, родится мальчик...

Вошла акушерка, Она задала своей пациентке должные вопросы и приступила к осмотру.

— Скажите, вы не можете мне предсказать, кто будет — мальчик или девочка? зардевшись спросила Елена.

— Трудно это довольно... Однако, по всем нашим приметам — мальчик, — ответила Акулина Петровна.

Елена чуть в ладоши не захлопала.

Когда осмотр кончился, Елена неловко положила на стол несколько крупных бумажек.

— Это потом можно, — сказала акушерка, взглянув на

«дензнаки». — Да и куда так много, зачем?

Она собиралась вернуть ей несколько бумажек. Елена удержала ее руку.

— Оставьте, прошу вас, — сказала она решительно. — Я должна просить вас о такой огромной услуге, что... Оставьте у себя деньги...

Акушерка внимательно на нее посмотрела.

— Я буду просить вас о полной тайне. Так, чтобы никто... ничего... Понимаете? И еще, чтобы вы не удивлялись и не пугались, что бы вы ни увидели. Хорошо? — сказала Елена.

— Ну, матушка моя, — махнула рукой акушерка, — я всего на своем веку насмотрелась — не испугаюсь. А насчет тайны, так будьте спокойны. У меня все дело на атом построено. Вы даже можете у меня провести послеродовой период.

— Ну, вот и хорошо, — обрадовалась Елена, — а то меня это беспокоило.

— Ладно-ладно — устроимся там. — А теперь пойдемте-ка чайку попьем, — сказала акушерка, беря ее под руку.

За чаем они разговорились до поздней ночи и когда разошлись отдыхать, то были уже друзьями.

В два часа пополуночи схватки участились и усилились, и акушерка перевела пациентку в кабинет.

Когда Акулина Петровна хотела взять из рук Елены небольшую сумочку, Ёлена не позволила.

— Но, ведь, нельзя же с собой ничего брать. Я даже белье на вас другое одену! — рассердилась акушерка.

— Нет, нет! Все, что угодно, а сумочка пусть будет у меня под рукой. Иначе я не согласна.

Акушерка вынуждена была уступить. Затем она приготовила все необходимое,..

Описывать роды я не буду. Те из женщин, которые рожали, помнят их по собственному опыту. Для мужчин эти знания будут совершенно бесполезны. А что касается девушек и вообще не рожавших, то я боюсь неумелым описанием испортить им предстоящее удовольствие.

Словом, роды уже кончались. Головка уже прорезывалась и вдруг акушерка, возившаяся около больной, взвизгнула и отшатнулась. У нее было явное намерение выбежать из кабинета.

Бледная рука измученной роженицы протянулась к сумочке, лежавшей на столике рядом с кроватью, и, вытащив оттуда маленький «дамский» браунинг, направила его на акушерку.

— Если вы... крикнете!.. я... застрелю! — сказала Елена, превозмогая боль. — Принимайтесь за ваше дело сейчас же! Ну?!..

Акушерка повиновалась.

— Господи... господи... да что же это? С ума я что ли схожу? Ведь вот она головка-то, вот она — под руками!.. А не вижу, не вижу! — бормотала она в отчаяньи.

— Да перестаньте вы хныкать! — крикнула на нее Елена, откладывая револьвер. — Я же предупреждала вас... Успокойтесь: с ума вы не сошли, а просто — перед вами роды невидимого ребенка!..

— Невидимого?!.. — ахнула акушерка и плюхнулась на табуретку. — Господи, да как же я обмывать-то его буду?!.. А как пуповину перерезать?!.. А дальше-то как?!..

— Бросьте причитать! Вы своего дела не исполняете, — кусая губы сказала Елена..

В Акулине Петровне это обвинение, видимо, затронуло профессиональную гордость. Удесятерив внимание, она приступила к своим прямым обязанностям.

— Ну, кто?.. Кто?.. — крикнула Елена и даже приподнялась на кровати, когда пустота, охваченная окровавленными руками акушерки, издала свой первый писк. — Мальчик? Девочка?

— Да черт его знает! — злобным голосом закричала акушерка, хватая трясущимися руками ножницы, чтобы отрезать пуповину.

Послед и пуповина, прилегающая к последу, были ясно видимы. Ребенок и пуповина, прилегающие к его тельцу, ничем не выделялись из окружающего воздуха.

— Ну, как ты его узнаешь?!.. Ничего не видать! — бормотала акушерка, возясь с невидимым младенцем.

— Да вы наощупь! — крикнула Елена.

— А и правда! — спохватилась акушерка. — А меня совсем, видно, из ума вышибло!

Она немедленно последовала совету Елены.

— С дочерью вас! — поклонившись, поздравила она родильницу.

Елена ахнула и без чувств упала на подушку.

Акулина Петровна не знала, к кому броситься, — к матери или к ребенку.

Весь остаток ночи, все утро и весь день до обеда прошли у них, как в жестокой лихорадке. Невозможно даже приблизительно передать все те затруднения, которые пришлось перенести несчастной Акулине Петровне. Эти затруднения были и при обмывании, и при кормлении, и при пеленании невидимой девочки.

Когда и акушерка, и Елена несколько привыкли к дикому факту, они не переставали смеяться.

Акулина Петровна догадалась, наконец, обозначить голову

невидимки чепчиком, ножки — кисейными туфельками, а рот, нос и глаза — небольшими пятнышками из губной помады.

Мало-помалу акушерка в совершенстве усвоила уход за невидимкой. Раздражение ее сменилось крайним расположением. Она гордилась, что она — единственная акушерка в РСФСР, воспринявшая невидимого младенца. Она предлагала даже Елене навовсе остаться у нее.

Елена тоже чувствовала себя неплохо. Она как будто начинала даже забывать несколько свое разочарование и, по-видимому, стала питать робкую надежду, что и девчонка невидимая на что-нибудь пригодится.

Словом, их жизнь можно было назвать почти идиллией.

Но идиллия эта была нарушена самым жестоким и неожиданным образом.

Однажды вечером в квартиру Акулины Петровны явились два агента уголовного розыска и арестовали Елену. На извозчике они доставили ее в уголовный розыск и сразу же, несмотря на позднее время, провели ее наверх, к начальнику.

В дверях кабинета Елена столкнулась с Силантием. Его уводили с допроса.

5 По горячим следам

Каким образом и когда несчастный Силантий снова попал в угрозыск?

Это случилось всего часа за два, за четыре до привода туда Елены и произошло вот при каких обстоятельствах.

Силантий в глубокой задумчивости сидел на своем обычном месте возле моста. Думы у него были довольно мрачные. Вот уже несколько дней, как прекратились подачки неизвестного благодетеля. Девался ли он куда, денег ли у него не сделалось, или что, — Силантий не знал.

Тяжело вздохнув, вытащил он из-за голенища кисет и вынул оттуда последнее даяние неизвестного — миллион «дензнаками».

— «Вот она последняя бумажечка!».

— Силантий, — послышался ему за спиной чей-то шепот, и кто-то дернул его за рубашку.

Силантий выронил «дензнак» и оглянулся. Высунувшись до половины из-под обрыва, стоял перед ним неимоверной запущенности оборванец и глядел на него мутными глазами. Он был в грязной белой кепке с полуоторванным козырьком. Грязные струйки пота катились по его отечному лицу, исчезая в рыжей всклокоченной бороде. Он держался трясущимися руками за край

обрыва.

— Силантий!.. — снова отчаянным и укоризненным шепотом произнес оборванец.

— Ферапонт Иванович!.. — вскричал Силантий и рванулся со своего ящика.

— Тише! Тише! Сиди так. Не двигайся. Не оглядывайся, — зашептал Ферапонт Иванович, высовываясь еще больше и приближая голову к Силантию. — Вот так и сиди. Будто и нет меня... Слушан, Силантий, за мной, ведь, гонятся... Убьют меня... Спаси меня, Силантий!..

— Да что делать-то надо, Ферапонт Иванович? — не оборачиваясь, спросил Силантий.

— С собакой за мной гонятся... Надо, чтобы следов моих не было... — прошептал Ферапонт Иванович.

— Вот что, вы спрячьтесь покудова, Ферапонт Иванович, а я сделаю... — подумав немного, сказал Силантий и, захватив костыли, зашагал к мосту.

— Слушай, друг, — сказал он, подходя к слепому, который сидел все на том же месте, уступленном ему Силантием. — Ты мне карету свою дай-ка на часок — съездить в одно место.

— Бери, — равнодушно сказал слепой.

Силантий впрягся в оглоблю двухколесной тележки, в которой возили слепого, и потащили ее к месту, где спрятался под берегом Ферапонт Иванович.

— Вот что... Я заеду за киоску, а вы, Ферапонт Иванович, бережком, бережком, да и вылазьте там, — сказал он мимоходом.

Под прикрытием киоска Силантий усадил Ферапонта Ивановича в тележку и закрыл ему ноги мешком.

— А вы кепочку-то сымите да под себя. А глаза-то закройте — будто слепой, — посоветовал он Ферапонту Ивановичу, впрягаясь в оглобли.

Силантий спрятал в тележку свой ящик и поверх ног Ферапонта Ивановича положил свои костыли. Они ему были не нужны, так как его поддерживала поперечная перекладина оглобель, на которую он налегал грудью.

Он беспрепятственно увез Ферапонта Ивановича. Правда, на них кое-кто оглядывался из прохожих, так как пара была довольно необычная: калека вез калеку, но все-таки никаких особенных подозрений они не вызвали.

Приблизительно через полчаса из-под обрыва вылетела собака, а за ней тяжело вылезли два человека.

Это были — Гера, Коршунов и Макинтош.

Гера тяжело «пыхала», вывалив язык. Коршунов и Макинтош остановились, переводя дух.

Макинтош дал волю собаке. Она уверенно привела их к киоску, возле которого Силантий усадил в тележку Ферапонта Ивановича. И как раз с этого места след исчезал. Гера засуетилась. Макинтош несколько раз направлял свою растерявшуюся собаку. Но каждый раз это кончалось неудачей. Лицо Коршунова передернулось презрительной улыбкой. Макинтош вытирал платком вспотевший лоб. Он сделал с собакой несколько кругов наугад. Растерянность у Геры и у хозяина ее была полная. Все трое собирались уже уходить.

Вдруг собака резко дернула в сторону. Макинтош выпустил цепочку. Гера подбежала к какой-то бумажке, лежавшей на земле, и усиленно и неотступно принялась ее обнюхивать.

Макинтош подошел и поднял бумажку. Это был «дензнак» неизвестного благодетеля, оброненный Силантием в то время, когда Ферапонт Иванович окликнул его сзади.

Сыщики многозначительно переглянулись.

— Спросим? — кивнул Коршунов в сторону милиционера.

Они подошли к постовому.

— Скажи, пожалуйста, — обратился к нему Коршунов, предварительно назвав себя, — ты сейчас за тем вон киоском ничего не замечал?

— Так как будто ничего особенного не замечал, — ответил милиционер. — А нищий один все время тут сидит.

— С деревяшкой? — спросил Коршунов.

— Вот-вот.

— А где он теперь?

— А вот только что, должно быть, приятеля своего отвез. Другой тут есть, нищий тоже, слепой, да и безногий вдобавок, — так вот он его и потарабанил куда-то... Только что вот провез на тележке...

Пальцы Макинтоша впились в локоть Коршунова, — А где этот слепой сидит? —продолжал расспрашивать Коршунов.

— А он обыкновенно... Да что за черт?!.. Вон он сидит! Никуда, значит, не уезжал... — растерянно пробормотал милиционер, опуская палец, которым указывал в сторону слепого.

— Вот что, спроси-ка ты его пойди, куда у него тележка девалась, — распорядился Коршунов.

Милиционер подошел к слепому.

— Слушай, — спросил он его, — тележку-то у тебя украли что ли?

— Нет, — ответил слепой, поворачиваясь в сторону милиционера и уставив на него незрячие глаза.

— А где же она?

— Силантий с ей уехал.

— Куда?

— Не знаю, — не сказывал. Он сичас приедет, — сказал слепой.

— Ну, ладно. А то я думал, что украли, — сказал милиционер и отошел.

Он сообщил Коршунову, что рассказал ему слепой. Коршунов остался весьма доволен.

— Подойди-ка сюда поближе, — сказал он милиционеру.

Коршунов передал ему деньги, оброненные Силантием, и на ухо стал инструктировать. Потом они с Макинтошем завернули за угол. Милиционер остался на посту.

Ждали они часа два..

Наконец, показался Силантий с пустой тележкой. Он поставил тележку возле слепого. И сказал ему что-то.

В это время к нему подошел милиционер.

— Слушай, это не ты деньги обронил, вон тут, возле киоска? — спросил он Силантия.

Силантий узнал свои деньги. Но для уверенности он вытащил кисет и заглянул в него.

— Нету... Мои это, мои это, я обронил. Вот спасибо, вот спасибо! Видать, что на хорошего человека попал, — засуетился он.

Коршунов и Макинтош подошли к нему.

— Так это твои деньги?!? — грозно спросил инспектор угрозыска.

— Мои...

— От кого ты их получил?

— Милостыня...

— Милостыня?!.. — переспросил насмешливо Коршунов. — Кто же это тебе по миллиону милостыню дает?!..

— Ей богу, милостыня.

— Врешь! — крикнул Коршунов. — Говори, кто!

— Вот те истинный Христос, милостыня! — клялся Силантий.

— Не ври, мерзавец! — заорал Коршунов, выхватывая браунинг. — Ты это кого на тачке возил?!.. Ну-ка, говори! — он направил на Силантия револьвер.

Силантий заплакал.

— Капустина, Ферапонта Ивановича отвозил... Душа-человек! — проговорил он сквозь слезы. — Он мне и деньги жертвовал.

— А ну, веди! — скомандовал Коршунов, пряча в карман револьвер. И Силантий повел. Он повел их в Нахаловку, в свою мазанухy, где спрятал он Ферапонта Ивановича.

Макинтош и Гера сияли.

Таким-то образом Силантий и Ферапонт Иванович были

арестованы и доставлены в угрозыск за несколько часов до ареста Елены.

6 «Крыть нечем»

— Скажите, вам известен этот гражданин? — спросил начальник угрозыска Елену, указывая на Ферапонта Ивановича.

— Нет, — спокойно ответила Елена.

Она произнесла это «нет» вполне искренне, потому что не признала сначала Ферапонта Ивановича в этом жалком, запущенном, грязном и бородатом субъекте. Но в следующую за ответом секунду ей уже мелькнуло что-то странно знакомое в его лице и, наконец, когда он повернулся к ней левой стороной и она увидела рубчик на его левом ухе, который она когда-то ощупывала в темноте, она уже не сомневалась больше, что в кресле напротив нее — отец ее невидимой дочери.

Выражение лица Елены в этот момент не ускользнуло от внимания начальника.

— Итак, значит, не знаете? — иронически переспросил он.

— Нет, не знаю, — со злостью ответила Елена,

— Ах, как жаль, как жаль! — продолжал иронизировать тот. — А знаете, на вашем месте я отдал бы многое, чтобы узнать имя и фамилию этого гражданина.

Елена молчала.

— Да... Очень жаль, — не смущаясь, продолжал начальник угрозыска. — Неужели вам не интересно знать, как зовут обладателя этой руки? — сказал он, внезапно схватив за кисть правой руки Ферапонта Ивановича и поворачивая ее перед Еленой. — 11осмотрите-ка, — рука, как видите, небольшая, тонкая, но довольно хваткая, судя по тому, что... эти вот пальцы раздавили гортанные хрящи... вашего покойного мужа...

Елена вздрогнула.

Ферапонт Иванович вырвал свою руку.

— Это ложь! — прохрипел он.

— Крепко сказано! — рассмеялся начальник. — Итак, значит, гражданин Капустин, вы по-прежнему отрицаете все остальные грехи, кроме этих изнасилований?

— Да, — угрюмо сказал Ферапонт Иванович.

— Стало быть, Яхонтова убили не вы, и этих коммунистов убили тоже не вы?

— Я не убивал...

— Та-а-ак, — протянул начальник угрозыска, переставив пресс-папье и, видимо, наслаждаясь разговором. — А, скажите,

вы, как психиатр, я полагаю, знакомы с дактилоскопией?

— Ну? — грубо и злобно сказал Ферапонт Иванович.

— Итак, стало быть, вы, без сомнения, знаете, что здесь ошибок не бывает и, вероятно, разбираетесь в дактилоскопических формулах. Тогда не угодно ли взглянуть...

Он взял со столика три картонки величиной со страницу книжки т ˆиа^^о и поставил их рядышком, прислонив к письменному прибору. По лицевой стороне этих картонок, обращенной к Ферапонту Ивановичу, можно было с первого взгляда посчитать их за снимки с аэроплана запутанных горных хребтов.

Это были сильно увеличенные снимки с отпечатка большого пальца правой руки, наклеенные на картон.

— Ну, что? — сказал, улыбаясь, начальник угрозыска. — Как видите, копытце одно на всех трех. Это, вот, — говорил он, постукивая поочередно по снимкам, — получено нами со спинки яхонтовской кровати, это — с железины, которой убит был один из коммунистов, а это дало нам одно из ваших похождений по части женского пола... Ну, как? — крыть нечем, а?

Ферапонт Иванович молчал.

— Теперь, может быть, вы узнаете этого человека? — неожиданно спросил начальник угрозыска Елену.

— Да. Я знаю этого человека, — тихо, но решительно сказала она.

— Ну, вот, и хорошо. Тогда мы с вами сейчас побеседуем. Это тем более необходимо, что мы скоро должны будем расстаться с гражданином Капустиным. Вас мы передаем в чека, — обратился он к Фе-рапонту Ивановичу. — Квартирный кризис там гораздо менее острый, чем у нас.

Начальник уголовного розыска сделал знак сотруднику, который привел Ферапонта Ивановича. Его увели.

Начальник угрозыска и Елена остались наедине...

В ту же ночь Ферапонта Ивановича перевели в чека.

На утро он был уже на допросе у следователя.

Здесь Ферапонт Иванович совершенно не пробовал отпираться и сразу признался во всем.

— Какие у вас были мотивы к убийству этих трех? — спросил его следователь.

— Месть. Ненависть, — отрывисто ответил Капустин и замолчал.

Он вообще ограничивался только ответами на вопросы, явно не желая распространяться. Вид у него был сонный и тупой.

Это раздражало следователя.

— Вы что же, не выспались? — спросил он, наконец, с

раздражением.

— Нет... устал я, — ответил Ферапонт Иванович. — Вы бы лучше сделали, товарищ следователь, если бы дали мне продолжительный отдых, тогда бы я рассказал все.

Следователь рассмеялся.

— Да, предложение, во всяком случае не лишенное остроумия, — сказал он. — Только, к сожалению, у нас много спешных дел — не подойдет... Но, может быть, я чем-нибудь другим мог бы поднять ваше настроение? — добавил он. — Может быть этим, например, а?

Он пододвинул Ферапонту Ивановичу раскрытую пачку папирос.

— Традиционно, — криво усмехнулся Капустин. — Однако, спасибо. Я не курю. Да и это мне не поможет.

— Что же вам угодно?

— Мне?.. Понюшку кокаина! — с неестественным смехом сказал Ферапонт Иванович. Глаза его тревожно блеснули.

— Кокаина, говорите? — повторил следователь. — Что ж, это можно.

С этими словами он подозвал одного из красноармейцев-конвоиров и, написав что-то карандашом на листочке бумаги, подал записку красноармейцу:

— Товарищу Петрову.

Красноармеец вышел.

Следователь снова обратился к Ферапонту Ивановичу.

— Ну, а пока не объясните ли вы мне, почему эта женщина говорит такие нелепости, что вы — бывший невидимка и тому подобное. Что она — сумасшедшая?

— Нет. Она говорит правду. Я, действительно, — «бывший невидимка», — мрачно усмехнувшись, сказал Ферапонт Иванович и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла.

Следователь рассмеялся.

— Мне нравятся такие люди, как вы, — сказал он. — Ну, а почему же вы превратились в «бывшего невидимку»? — спросил он, тоном своих слов ясно подчеркивая, что он не прочь поддержать шутку.

Ферапонт Иванович долго не отвечал ему. Наконец, левый глаз его медленно приоткрылся и уставился на следователя.

— Не раз-врат-ни-чай-те, молодой человек! — произнес он, тяжело ворочая языком, и левый глаз его опять закрылся.

Следователь не знал, чем ему ответить на эти слова и вообще, как ему отнестись к ним.

В это время вошел красноармеец. В руках у него была маленькая широкогорлая склянка с белым порошком.

Ферапонт Иванович сразу воспрянул.

— Вот, пожалуйста, — сказал ему следователь, ставя возле него кокаин.

Ферапонт Иванович дрожащими пальцами вынул стеклянную притертую пробку и, высыпав в левую ладонь маленькую кучку порошка, поднес ладонь к носу и жадно втянул кокаин в одну и в другую ноздрю. На ладони было чисто. Только кое-где поблескивали отдельные пылинки кокаина.

Несколько минут Ферапонт Иванович сидел молча, уставившись в потолок, и нервно подергивал носом и губами. Это похоже было на затихающее подергивание лица после рыданий.

Чекист, подперев рукой голову, с любопытством смотрел на него.

Ферапонт Иванович снова взял щепотку кокаина.

Минут через двадцать действие кокаина было в полном разгаре. Ферапонт Иванович совершенно преобразился. От сонного и тупого человека с отвислыми губами ничего не осталось. Капустин сидел выпрямившись, лицо его выражало энергию. Он быстро-быстро говорил и жестикулировал. Голос у него сделался звонким. Глаза горели.

Он без всякой просьбы со стороны чекиста разматывал теперь перед ним клубок своих похождений. Он рассказал ему все о своей жизни, о трудах и надеждах, о том, как собирался он спасать Омск, о том, как достиг невидимости и, наконец, о том, как утратил ее. В общем он говорил почти то же самое, о чем рассказывал когда-то Елене, но на этот раз так широко, с таким энтузиазмом и огнем, что следователь время от времени встряхивал головой, по-видимому, ловя себя на том, что начинает заслушиваться и даже верить этому субъекту.

Следователя поразило на сей раз столь небывалое действие кокаина на способность человека к вранью, и он несколько раз пытался вставить вопрос, но Ферапонт Иванович совершенно не давал ему этой возможности. Он говорил и говорил без конца, время от времени вынюхивая новую щепотку кокаина. Вся грудь его рваного пиджака усыпана была порошком.

Наконец, следователь поймал удобный момент и спросил его, не скрывая насмешки:

— Значит, вы утрапиш вашу невидимость, потому что слишком предавались разврату?

— Да, — совершенно серьезным тоном ответил Капустин. — Я безумно расточил энергию, лежащую в основе всех психических процессов. Я сделался невидимкой, я нарушил все социальные запреты и этим самым подписал себе смертный приговор. Скрученная пружина, если она размотается до конца, перестает

быть двигателем, пока снова не скрутят ее.

— Так, не потому ли вы просили у меня длительного отдыха? Признавайтесь! — сказал следователь, многозначительно подмигнув ему.

— Да. Я рассчитывал на это, — словно не замечая иронии, ответил Ферапонт Иванович. — Половая энергия, — продолжал он, —пружина всего организма. Половые импульсы — перводвигатель всей психики человека. Волевой акт в самой сути своей пронизан половой тенденцией. Творческая фантазия любого гениального человека живет исключительно богатствами подсознания, содержание которого определяет половая доминанта. Горе опустошившему свое подсознание!..

Ферапонт Иванович взял еще щепотку кокаина.

Чекист с тревогой посматривал на него. Он давно уже решил, что данные сегодняшнего допроса пропали. Воспользовавшись тем, что Ферапонт Иванович, увлеченный своей речью, забыл обо всем, он незаметно взял у него кокаин и спрятал в нижний ящик стола.

Он нагнулся на одну только минутку, а когда разогнулся и посмотрел в сторону Ферапонта Ивановича, того уже не было.

Перед следователем было пустое кресло.

— К двери! — крикнул следователь красноармейцам и сам, выскочив из-за стола, подбежал к двери, закрыл ее на ключ, а ключ положил в карман.

Потом он вернулся к столу, взял телефонную трубку и вызвал коменданта.

— Восемь человек, сюда, ко мне! — сказал он в трубку. — Что? Ну, конечно!..

Минуты через две тяжелый топот множества ног послышался возле двери. Следователь приоткрыл дверь и одного по одному стал впускать красноармейцев, загородив руками дверь, так что они подлазили, сильно нагибаясь.

Он быстро захлопнул дверь за последним красноармейцем и снова закрыл ее на ключ.

— Плечом к плечу, от стены до стены! Щупай штыками воздух! — крикнул он красноармейцам.

Те выстроились с ружьями наперевес.

— Начинай! — скомандовал следователь. — Не пропустить ни одного места!

Цепь двинулась, растянувшись через всю комнату. Правый фланг дошел до противоположной стены. Тогда следователь направил красноармейцев так, чтобы они загоняли невидимого в один из углов.

Через минуту оставался «непрощупанным» один только угол.

Кто-то из красноармейцев слегка ткнул штыком.

— Брось! — послышался голос невидимого. — Ты мне живот распорешь!

Винтовка тряслась в руках красноармейца.

Следователь бросился в угол, где прижат был Ферапонт Иванович. Еще через минуту невидимый сидел в кресле, привязанный к нему ремнями красноармейцев. Следователь возобновил допрос.

— Скажите, — было первым его вопросом, — как эта чертовщина случилась?!..

— Благодаря кокаину, — ответил невидимый. — Он парализовал тормозящие корковые центры в моем мозгу и вообще сыграл роль кнута для моего организма и психики. Временно он возвратил мне прежнюю силу, и вы стали жертвой отрицательной галлюцинации.

— Так, значит, вы это сделали нарочно — кокаина-то у меня попросили?

— Да. Я рассчитывал на это. Только я дурак, — мрачно сказал Ферапонт Иванович, — мне нужно было это сделать потом, когда бы меня увели.

— А долго вы будете сидеть невидимым?

— Пока не ослабнет действие кокаина и не наступит реакция, — ответил невидимый.

Его предсказание сбылось довольно рано.

Через полчаса перед следователем сидел опять жалкий, трясущийся человек с непрошедшими еще признаками кокаинного возбуждения.

— Н-да... Вы социально-опасный тип, — сказал следователь.

— Я... я могу быть и социально-полезным, — шепотом сказал Ферапонт Иванович, вытягивая к чекисту шею. — Я мог бы принести пользу советской власти...

По лицу следователя прошла брезгливая гримаса.

— Уберите его! — сказал он красноармейцам.

Конвоиры отвязали Ферапонта Ивановича и подняли его с кресла. Он упирался в оборачивался в сторону чекиста, пытаясь сказать что-то.

Его увели.

В два часа пополуночи Ферапонта Ивановича расстреляли.

notes

Примечания

1

При прочих равных условиях *(лат.). (Прим. изд).*

2

Положение, имевшее место до войны *(лат.). (Прим. изд).*

3

Лужа.

4

«По-свойски ботать» — знать жаргон преступников.

5

«Феня» — блатной жаргон.

6

Честный.

7

Убийца, «помочить кого-нибудь» — убить.

8

Отвратительная рожа, дай покурить.

9

Мужик вздумал скандал заводить.

10

Избить.

11

Особый, довольно мучительный способ расправы с товарищем по камере.

12

Темный киф: делают «нахлобучку» на голову, бьют смертным боем.

13

Мадемуазель, занимайте ваше место *(фр.). (Прим. изд.).*

Дензнаками 1921 года.

15

Насмерть.

16

Ножик.

17

Без суда не поведут.

18

Бомбы

19

Донести

20

Содержательница притона

21

Сыщик